

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



**АНАНАСНАЯ ВОДА
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ**

Виктор Пелевин - это качественный премиум-бренд на книжном рынке, который за годы существования зарекомендовал себя безупречно. Книги Пелевина захлеб читают и студенты, и олигархи, и политики, и домохозяйки. Их цитируют на модных тусовках и в рейтинговых СМИ, их обязательно читает Президент РФ!

Открывая новую книгу Пелевина, Вы гарантированно получаете высококлассную литературу и остроактуальную философию от одного из самых оригинально и смело мыслящих людей современности.

Перед празднованием Нового года в период естественного повышения спроса и поиска достойных подарков, новая книга Виктора Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы» обещает стать одним из самых ярких и успешных событий на книжном рынке!

Виктор Пелевин

Ананасная вода для прекрасной дамы

Часть I

БОГИ И МЕХАНИЗМЫ

Автор не обязательно разделяет религиозные, метафизические, политические, эстетические, национальные, фармакологические и прочие оценки и мнения, высказываемые персонажами книги, ее лирическими героями и фигурами рассказчиков.

Операция «Burning Bush»

I'm the little jew who wrote the Bible.

Leonard Cohen

Чтобы вы знали, меня зовут Семен Левитан.

Я родился и вырос в Одессе, на пятой станции Большого Фонтана. Мы жили совсем рядом с морем, в сталинской квартире конца тридцатых годов, доставшейся моей семье из-за минутной и не вполне искренней близости к режиму. Это было просторное и светлое жилище, но в его просторе и свете отчетливо присутствовал невыразимый советский ужас, пропитавший все постройки той поры.

Однако мое детство было счастливым. Вода в море была чистой (хотя тогда ее называли грязной), трамваи ходили без перерывов, и никто в городе не знал, что вместо английского языка детям надо учить украинский — поэтому отдали меня в английскую спецшколу. По странному совпадению, в ее вестибюле висела репродукция картины «Над вечным покоем» кисти одного из моих великих однофамильцев — Исаака Левитана.

Я не имею отношения к этому художнику. Зато, если верить родителям, я отдаленный родственник знаменитого советского радиодиктора Юрия Левитана, который в сороковые годы озвучивал по радио сводки информбюро. Очень может быть, что именно гены подарили мне сильный и красивый голос «таинственного серебристо-ночного тембра», как выразилась школьная учительница музыки, безуспешно учившая меня петь.

Документальных свидетельств родства я не видел — никаких архивов у нас не сохранилось. Но семейное предание заставило маму купить целый ящик записей Левитана на гибких пластинках, сделанных из старых рентгенограмм. Подозреваю, что эта же сень отраженного величия заразила папу-преферансиста поговоркой «я таки не играю, а счет веду».

Слушая размеренный, как бы неторопливо ликующий голос Левитана, я с детства изумлялся его силе и учился подражать ей. Я запоминал наизусть целые военные сводки и получал странное, почти демоническое удовольствие от того, что становился на несколько минут рупором сражающейся империи. Постепенно я овладел интонационными ухищрениями советского диктора, и иногда мне начинало казаться, что я настоящий ученик чародея — мой неокрепший голос вдруг взрывался раскатом громopodobных слов, словно бы подкрепленных всей танковой мощью центральной Азии.

Родителей весьма впечатлял мой имитационный талант. С другими людьми обстояло чуть сложнее.

Дело в том, что моим родным языком был не столько русский, сколько одесский. И мама, и отец говорили на уже практически вымершем русифицированном идише, который так бездарно изображают все рассказчики еврейских анекдотов. Я, можно сказать, и вырос внутри бородатого

и не слишком смешного анекдота, где фраза «сколько стоит эта рыба» звучала как «скильки коштуе цей фиш».

Этот специфический одесский *parlance* впитался в мои голосовые связки настолько глубоко, что все позднейшие попытки преодолеть его оказались безуспешными (забегая вперед, скажу, что густая тень идиша легла не только на мой русский, но и на мой английский). Поэтому, хоть изображаемый мной Левитан звучал совершенно естественно для моих родителей, приезжих из Ма-а-асквы он смешил до колик. Мне же их тягучий как сгущенка северный выговор казался до невозможности деревенским.

Летом меня отправляли в странный пионерлагерь, расположенный совсем рядом с домом — он помещался в здании интерната для глухонемых, которых на лето, надо думать, вывозили на север. В палате пионерлагеря я развлекал более сильных и наглых ребят своим небольшим даром.

Надо сказать, что я был слабосильным мальчиком. Сперва родители надеялись, что мой рост и сила лишь временно зависли на какой-то небесной таможне, и я еще наверстаю свое. Но к шестому примерно классу стало окончательно ясно, что папа создал не Голиафа, а очередного Давида.

Мудрый Фрейд не зря говорил, что анатомия — это судьба. Мой имитационный талант оказался единственным противовесом жестокому приговору природы. Но все-таки противовес существовал, и гопники с гегемонами били меня не слишком часто — я умел их развлечь.

Сперва я просто читал заученные наизусть военные сводки, пестрящие дикими географизмами — в темной палате они звучали непобедимыми азиатскими заклинаниями. Но постепенно это наскучило моим слушателям, и я начал импровизировать. И вот здесь выяснились удивительные особенности моей магической речи.

Любая из страшных историй, которые дети рассказывают друг другу в темноте, приобретала в моем исполнении иное качество — и пугала даже тех, кто обычно смеялся над страшилками. Мало того, самые простые слова, обращенные к моим товарищам по палате в темный час после отбоя, вдруг наполнялись жутким многозначительным смыслом, стоило мне произнести их голосом Левитана.

Любой этнограф, знакомый с особенностями евразийского детства, знает, что в подростковой среде соблюдаются строгие социальные протоколы, нарушение которых чревато такими же последствиями, как неуважение к тюремным табу. Но моя волшебная сила ставила меня выше подобных правил. В минуты имперсонаций я мог, как тогда выражались, «бакланить» без всяких последствий, говоря что угодно кому угодно — и с этим смирялись, как бы почитая сошедшего на меня духа. Разумеется, я не ставил подобных экспериментов в своем обычном худосочном качестве, когда в палате становилось светло.

Была, впрочем, одна досадная проблема — о ней я уже упоминал. Некоторые ребята обладали иммунитетом к моей магии. Мало того, я их смешил. Обычно это были москвичи, занесенные к нам потоками арктического воздуха.

Причина была в моем одесском выговоре — он казался им смешным и несовместимым с грозным смыслом произносимых слов. В такие минуты я ощущал нечто похожее на трагедию поэта, которому легкая картавость мешает обольстить свет чарами вполне гениальных строк. Но москвичей среди моих слушателей было мало, и некоторые из них таки падали под ударами темных крыл моего демона, так что по этому вопросу я переживал не особо.

С одним из москвичей я даже подружился. Его звали Влад Шмыга. Это был толстый мрачный парень с очень внимательными глазами и вечно потным ежиком. Мне льстило, что он был одним из тех северян, кто не смеялся над моим выговором, а его, несомненно, впечатлял мой талант.

В нем было что-то военно-детдомовское — только его хотелось назвать не сыном полка, а сыном заградотряда. Его любимым эпитетом было слово «убогий», применявшееся ко всему, от погоды до кинематографа. Кроме того, у него было необычное хобби.

Он вел досье на каждого мальчика из нашей палаты — в общей тетради, которую хранил в мешке с грязным бельем под защитой нескольких особо пахучих носков. Мне он ее доверительно показал, когда мы курили сырые ростовские сигареты в кустах возле столовой. Про меня там было написано следующее:

Семен Левитан.

Обладает умением говорить голосом загробного мира, отчего ночью делается страшно. Может не только напугать до усрачки, но и утешить и вдохновить. Таким образом, имеет уникальную способность, близкую к гипнозу. Способен выражаться красиво и заумно, так что кажешься себе некультурным дураком, но, когда забывается, начинает говорить быстро и с сильным еврейским акцентом. Тогда гипноз пропадает.

Я, конечно, и сам про себя все это знал — только формулировал чуть иначе. Однако я был знаком с собой вот уже двенадцать лет, а Владик выделил из меня эту смысловую суть всего за несколько дней. Мало того, за этот короткий срок он успел проделать то же самое и с остальными соседями по палате, и это, конечно, впечатляло. Наверное, именно тогда я впервые понял, что кроме меня в мире есть много других специфически одаренных людей, и гордиться своим даром следует очень осторожно.

Мы с Владиком переписывались пару месяцев после лагеря, потом он хотел опять приехать в Одессу, но не смог — и постепенно наша дружба сошла на нет. Думаю, последнее письмо написал все-таки я, но не уверен.

После школы меня отправили учиться в московский институт Иностранных языков. Мама долго не хотела отпускать меня, ссылаясь на корни, без которых я увяну, но папа, как опытный преферансист, обыграл ее, хитро передернув козырную цитату из Бродского (тот был для мамы высшим авторитетом). Он сказал так:

— Если выпало в империи родиться, надо жить в глухой провинции у моря. Ну а если выпало родиться в глухой провинции у моря? Значит, Семену так надо жить в империи!

Но империя в это время уже дышала на ладан, а пока я учился в инязе, и вовсе перестала это делать, после чего римские циклы Бродского потеряли одну из главных эстетических проекций, а мои карьерно-выездные надежды — так и вообще всякий смысл.

Об ужасе девяностых я умолчу. Скажу только, что за российский паспорт с меня содрали непорядочно много денег — это была явная несправедливость даже по тем беспредельным временам. Правда, английскому в Москве я научился весьма сносно.

В один прекрасный день на заре нового миллениума я увидел в зеркале некрасиво лысеющего худого мужчину, которого уже довольно трудно было назвать «молодым человеком». Этот потасканный низкооплачиваемый субъект жил в съемной хрущобе у метро «Авиамоторная» и преподавал английский на расположенных у Павелецкого вокзала курсах «Intermediate Advanced», куда ходили технические абитуриенты и размечтавшиеся проститутки.

Рядом со мной работало несколько преподавателей, в которых я без особого труда мог опознать себя через десять, двадцать и тридцать лет — и это зрелище было настолько унылым, что я начинал подумывать, не уйти ли мне из жизни куда-нибудь еще.

Подходящим способом казалось уснуть навсегда. Я, собственно говоря, и пытался сделать это каждый вечер, но, поскольку мне страшно было глотать таблетки или резать вены, я каждый раз просыпался опять, и с этим ничего нельзя было поделать.

По вечерам я читал французские экзистенциальные романы шестидесятых годов — целый их шкаф достался мне по наследству от командовавшего атомным ледоколом капитана, затонувшего в моей халупе в годы приватизации. От этого чтения в моей депрессии ненадолго появлялся благородный европейский налет — но достаточно было одной поездки в переполненном трамвае, чтобы мыслящий тростник снова превратился в лысого еврейского лузера.

Мое отчаяние делалось все безысходней — и в высшей его точке, когда я на полном серьезе готов был выпить настоящего яду или даже вернуться в Одессу, судьба без всякого предупреждения пересадила меня на очень крутой маршрут.

Как-то в августовское воскресенье 2002 года я шел по Новому Арбату в районе Дома Книги. На улице было необычно мало машин, и воздух был полон той нежнейшей московской тоски по незаметно прошедшему лету, которая одновременно щемит сердце и примиряет с жизнью. Мне было почти хорошо.

Вдруг слева от меня скрипнули тормоза, и рядом остановилась приземистая черная машина с тонированными стеклами — в кино на таких ездят гламурные спецагенты, которым мировое правительство доверило рекламу ноутбуков «vaio». Заднее стекло чуть опустилось, и темнота за ним позвала:

— Семен!

У меня екнуло в груди.

Голос темноты был мне незнаком, но интонации — а я таки знаю вещь или две об интонациях — были такими, словно она давно и хорошо меня знает, как и положено темноте. Отчетливо помню: в первую секунду мне показалось, будто за окном притаился какой-то забытый древний ужас — то, что мы до сих пор боимся встретить во мраке, хотя его там нет уже миллионы лет.

Видимо, испуг отразился на моем лице. Темнота довольно засмеялась, окно опустилось ниже, и я увидел человека, которого тут же узнал.

Это был Влад Шмыга, мой друг из пионерлагеря. Его внимательные глаза совсем не изменились, хоть годы и накачали хмурым жиром складки кожи вокруг них.

— Садись в машину, — сказал он. — Поедем поедим.

Я сел в прохладный темный салон.

Кроме Шмыги, в машине были водитель и человек на переднем сиденье. Шмыга ободряюще улыбнулся, и я уже начал подыскивать подходящий к случаю сентиментальный трюизм, когда человек с переднего сиденья обернулся и щелкнул чем-то возле моего плеча, уколотив меня в шею.

Машина с ее обитателями сразу поплыла вверх и вправо, превратившись в подобие странной колодезной крышки, внимательно глядящей на меня тремя парами глаз. Я же занялся тем, что стал падать в колодезь.

За ресторанным столиком обедали трое. Двое были сумрачными полными людьми с невыразительными лицами. Одеты они были скучно — в дешевый спортивно-летний ширпотреб. Третий, сидящий между ними, был, напротив, весьма ярок — бакенбарды делали его похожим на развратную итальянскую обезьяну, а клетчатый пиджак так и вообще превращал в какого-то наглого Пушкина, который вместо стихов посвятил себя мелкооптовой торговле.

Звука не было, поэтому о разговоре приходилось судить по мимике. Говорил в основном Пушкин, и сначала мне казалось, что я вижу встречу школьных друзей, один из которых пролез в

президиум жизни и судьбы, а двое так и остались коллежскими ассенизаторами, и теперь добившийся успеха учит их разуму. Ассенизаторы говорили коротко и односложно, глядя в тарелки, а Пушкин витийствовал вовсю, и одним особо раздольным жестом даже опрокинул на стол бокал с вином.

Но постепенно разговор приобретал странный оборот. Ассенизаторы все чаще поднимали от тарелок тусклые злые глаза, а Пушкин все дольше держал ладонь прижатой к сердцу. И скоро мне стало понятно — он смертельно напуган, и не учит друзей жизни, а оправдывается, но ему не верят. А потом выяснилось, что никакие это не друзья, поскольку друзья себя так не ведут.

В какой-то момент Пушкин совсем потерял апломб, а двое ассенизаторов сделались окончательно похожи на гангстеров, и я вдруг догадался, что их простецкий прикид — это просто дешевая рабочая одежда, которую им не жалко испачкать. Видимо, одновременно со мной это понял и Пушкин на экране: он попытался встать с места, но ассенизаторы оказались на ногах чуть быстрее, и его рот распахнулся в неслышном крике.

Один из ассенизаторов швырнул Пушкина лицом прямо на тарелки с едой. Второй достал откуда-то молоток и гвозди, и они за несколько секунд кощунственно прибили руки недавнего члена президиума к столу — хоть я не слышал его крика, он почти физически давил мне на уши.

Все дальнейшее заняло от силы полминуты.

Оказалось, что стол стоит на колесиках — двое легко двинули его вперед. Камера переехала им за спины, двустворчатая дверь впереди раскрылась, и они быстро повлекли стол по коридору, словно санитары — каталку с больным.

Конец коридора выглядел чрезвычайно неряшливо — казалось, в его тупике шел ремонт, и стены залепили рваными лоскутами полиэтиленовой пленки. Там что-то подрагивало и блестело, и, когда стол доехал до середины коридора, я с содроганием понял, что это вращающийся диск циркулярной пилы.

Когда до нее осталось несколько метров, один из ассенизаторов потянул Пушкина за волосы, чтобы тот поднял лицо и увидел будущее. Затем стол прошел над рамой пилы (видимо, ее высота была отрегулирована заранее) и наехал на диск. Последовавшее было страшно и омерзительно. Особенно меня напугала та столярная сноровка, с которой державший Пушкина за волосы отдернул руку в последний момент.

Очумело глядя на экран, я думал, что моя догадка насчет дешевой рабочей одежды оказалась верна — убийцы, несомненно, не будут ее отстирывать, а просто выкинут. Я еще в детстве заметил, что наш ум, стараясь защитить себя от сцен запредельной жестокости, норовит вцепиться в какую-нибудь мелкую деталь и вдумчиво анализирует ее, пока все не кончится.

К этому времени я уже пришел в себя и понимал, что сижу в темном зале и смотрю фильм, который показывают через проектор. И вот экран погас.

Попытавшись встать, я понял, что не могу этого сделать — на мне была сковывающая движения упряжь, подобие смирительной рубахи, пристегнутой к креслу на колесиках, в котором я сидел. Когда зажегся свет, я увидел, что это кресло стоит в проходе между пустыми рядами. Но я наслаждался одиночеством недолго. На плечо мне легла легкая ладонь. Я вздрогнул и попытался обернуться, насколько позволяло кресло. Но человек, положивший мне руку на плечо, стоял у меня точно за спиной и был невидим.

— Вот так бывает, — сказал назидательный женский голос, — когда много говорят не по делу. Вы поняли, Семен Исакович?

— Да, — ответил я, — я все понял. Я еще в детстве все понял.

— Тогда распишитесь.

Мне на колени упал планшет с пристегнутым к нему листом бумаги. Бумагу покрывал разбитый на множество пронумерованных параграфов текст. Шрифт был очень мелким, и я

разобрал только заголовок:

ПОДПИСКА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ

Я даже не стал спрашивать, о неразглашении чего.

— Как же я распишусь, — сказал я, — когда у меня руки связаны.

— Можете поставить крестик, — отозвался женский голос, и тонкие пальцы поднесли к моему рту авторучку.

Я послушно сжал ее зубами, женщина подняла планшет, и я кое-как поставил нелепую кривую загогулину напротив слова «Подпись» — она не поместилась в графе, где были мои имя и фамилия, и залезла на печатный текст. Кажется, женщину это не смутило.

Она убрала планшет, и я почувствовал мягкое прикосновение к голове. Мои глаза закрыла плотная черная повязка. Затем кресло тронулось с места.

Судя по косвенным признакам, мы выехали из зала, довольно долго катили по коридору, потом опустились на лифте, где кроме нас ехали другие люди (я слышал негромкий разговор о футболе). Потом был еще коридор и еще лифт. Наконец, переехав через порог, мы остановились, и с моих глаз сняли повязку.

Я увидел зубоучебный кабинет.

Но такой, в котором не стыдно было бы вставить ампулу с цианистым калием в зуб самому Генриху Гиммлеру. В его атмосфере было что-то невыразимо мрачное — словно долгие годы тут занимались пыточным промыслом, а затем, чтобы рационально объяснить пропитавшую стены ауру страдания, установили вместо дыбы зубоучебное кресло. Такое излучение, кстати, часто пронизывает дорогую московскую и особенно питерскую недвижимость — но, к счастью для риелторов, то, что туда въезжает, бывает еще страшнее, чем то, что когда-то выехало.

Стоит ли говорить, что зубной доктор и его ассистент показались мне как две капли воды похожими на убийц из ролика.

Мне на нос нацепили резиновую прищепку с отходящим от нее шлангом, и я провалился в смутное пространство газовой анестезии, где сначала вспоминаешь великую тайну, о которой все люди договорились молчать, а затем так же неизбежно забываешь ее, когда сеанс подходит к концу. Уйдя в созерцание, я даже не заметил, как меня пересадили из передвижного кресла в зубоучебное.

Врачи ни минуты не сомневались, что им делать. Они залезли мне в рот и стали грубо сверлить верхний шестой зуб с левой стороны. Край моего сознания бодрствовал, и я подумал, что задачей недавнего кинопросмотра могла быть просто подготовка к этой процедуре: перед лицом мучительной смерти как-то перестаешь бояться зубной боли. Это было очень тонко, и я даже начал мычать, стараясь объяснить докторам, что я понял их план и в восторге от него, но один из них погрозил мне пальцем, и я замолчал. Мне показалось, что после этого анестезиолог сильно увеличил процент закиси азота во вдыхаемой мной смеси.

Когда наркоз отпустил, я был уже снова пристегнут к своему креслу-каталке. Я осторожно ощупал языком зубы. Верхний шестой стал другим. В нем появилась большая свежая пломба, которую, если сказать честно, мне давно надо было поставить самому — раньше на этом месте была дырка, и она уже начинала ныть.

— Кушать можно будет через час, — сказал в пространство один из врачей.

Подошедшая сзади женщина завязала мне глаза и покатила мое кресло прочь.

Мы опять долго путешествовали по лабиринту коридоров, а затем поднялись вверх — уже на более современном и быстром лифте, который совсем не лязгал. Меня вкатили в какую-то комнату, и кресло остановилось.

Легкие женские пальцы развязали узлы прижимавшей меня к креслу упряжи и сняли ее. Мне помогли встать и надеть мой собственный пиджак, который я узнал по цапнувшему меня за ладонь значку на лацкане (это были скрещенные американский и российский флаги — простительная вольность для учителя английского языка).

Затем меня пересадили на стул, и ассистировавшая мне женщина вышла из комнаты, укатив кресло за собой. После того как скрип колесиков стих, я довольно долго сидел с завязанными глазами в тишине, и мне уже стал надоедать этот глупый спектакль, когда в комнату кто-то вошел.

— А вот приехал друг детства Семен! — пропел рядом голос Шмыги, и он снял повязку с моих глаз. Только после этого я понял, что уже давно мог поступить так и сам — но отчего-то не решился.

Комната, где я находился, напоминала кабинет путешественника — причем не только в пространстве, но и во времени.

Первым бросался в глаза размытый импрессионистский портрет Дзержинского с теннисной ракеткой в руках, висящий над рабочим столом. Вокруг него размещалось азиатское оружие — мечи, алебарды и какие-то цепи. В углу чернел похожий на остатки сгоревшего летчика манекен для винчуна с короткими огрызками рук.

Боковые стены украшало несколько застекленных фотографий Шмыги. На одной он, в генеральской форме, стоял рядом с известным банкиром, который чуть смущенно улыбался, на другой — держал руку на плече не менее известного бандита, уже покойного. Бандит, что меня поразило, был аккуратно обведен траурной рамкой с зазором, оставленным специально для того, чтобы Шмыга мог просунуть руку в потусторонний мир.

На полу кабинета лежал персидский ковер — настоящий и, наверно, весьма дорогой.

— Товарищ гене...

— Владик, — перебил Шмыга. — Для тебя всегда просто Владик. И на ты.

— Хорошо, — сказал я, — Владик. Ужасно рад встрече с другом детства. А особенно тому, что твои опричники оставили меня в живых.

— А в чем дело? — округлил Шмыга глаза.

Я коротко рассказал о только что пережитом, и Шмыга недоверчиво покачал головой.

— Вот сволочи, — сказал он хмуро. — Паразиты. Я им велел взять с тебя подписку о неразглашении. А перед ней у нас всегда такой ролик показывают. Чтобы человек не просто бумагу подмахивал, а отчетливо понимал, что будет при разглашении. А они тебе ничего не объяснили? И ты, значит, на спецпроцедуру так втемную и поехал? Козлы убогие... Ну ничего, разберемся и накажем виновных. Будет им, блять, тринадцатая зарплата в твердой валюте...

Он поднял со стола блокнот с профилем Данте Алигьери на обложке и некоторое время сосредоточенно водил по бумаге ручкой, причем я сразу догадался, что он рисует внутри такие же профили Данте, только маленькие. Почему-то эти люди думают, что за долгий двадцатый век мы не изучили их методов работы.

Положив блокнот, он шагнул ко мне, словно собираясь своим запоздавшим объятием исцелить все мои душевные раны, но тут на его столе зазвонил телефон. Шмыга чертыхнулся и поднял трубку. Несколько секунд он слушал, а потом его лицо стало хмурым и внимательным.

— Так точно, — сказал он и положил трубку.

Подняв на меня глаза, он виновато развел руками.

— Видишь, что творится. Сегодня не смогу — боевая тревога. Давай встретимся через день, и я все тебе объясню. Умоляю, чуть потерпи, и не бери в голову. Сейчас тебя отвезут домой. Не волнуйся, найду тебя сам...

Может быть, на меня все еще действовал наркоз, но дома я почти не думал о случившемся. Отмыв с рукава пиджака маленькое пятнышко крови (я так и не понял, откуда оно взялось), я без аппетита поел и лег спать.

Ужас начался в середине ночи.

— Семен, — сказал вдруг в моем мозгу замогильный голос, — ты готов к расплате, Семен? Я отбросил одеяло и приподнялся на локтях.

В окне светила мистическая луна, ветер раскачивал занавески — все было, как в немецкой романтической трагедии. Эта минута очень подходила для того, чтобы сойти с ума — или хотя бы до смерти испугаться. Я именно так и поступил: испугался до такой степени, что на голове зашевелились остатки волос.

Дело в том, что слова раздавались не где-то рядом, а приходили из самого центра моего существа. Но это был не так называемый «внутренний голос», который мы на самом деле просто воображаем, а настоящая речь. Только она доносилась из сокровеннейшего внутреннего измерения, откуда раньше со мной не говорил никто. И это было непередаваемо жутко.

— Кто ты? — спросил я, оглядываясь.

— Ты оскорбил мой дух, — сказал голос. — И теперь я буду тебе мстить, у-у-у-у...

«У-у-у-у» смешно выглядит на письме, но, когда голос завыл в моей голове, это было... Даже не знаю, как передать. Как будто бригада эков, которая строила мою одесскую квартиру, вдруг воскресла, проложила inferнальный дымоход между моим носом и ухом — и в нем загудел страдальческий ветер ада.

Я ущипнул себя, но не проснулся.

— Кто ты? — спросил я с трепетом.

— Я дух диктора Левитана, — ответил голос.

В первый момент я купился, как камбала на Привозе.

— Я... Я очень рад, — сказал я растеряно. — Для меня это большая честь. Я много времени посвятил изучению вашего наследия, Юрий Борисович. А в детстве даже отрабатывал дикцию, стоя на голове — прочел, что так делали вы...

— Ты издевался над моей светлой памятью с самого детства, ебаная свинья.

Тут я понял, что это какой-то подвох — интеллигентный еврей, который всю жизнь работал на радио, не скажет такого даже выпивши. А уж тем более с того света.

— Я не издевался, — сказал я, стараясь, чтобы в моем голосе звучало собственное достоинство, и совершенно неожиданно для себя перешел на интонации Левитана. — Я подражал. И делал это с большим уважением. А вы, извиняюсь, никакой не Левитан.

— Почему ты так считаешь, ничтожный червь? — спросил голос и опять завыл.

Вой снова вышел очень убедительно, но слова впечатляли меня все меньше и меньше.

— Потому, что Левитан никогда не сказал бы «ебаная свинья», — ответил я. — Он был воспитанный человек с хорошими генами, и никогда не употребил бы подобных слов, даже если бы действительно так про меня думал.

— Что ты можешь знать о великом Левитане, убогий, — провыл голос.

Тут, наконец, я понял, кто со мной говорит.

— Про самого Левитана я знаю мало, — ответил я спокойно. — Но я хорошо знаю, как он говорил. И я уверен, что даже с того света он не стал бы акать, как московский таксист. А уж этой присказки «убогий» я бы точно от него не услышал. Из всех моих знакомых она была только у некоего Владика Шмыги.

— Расколос, а? Надо же, — сказал Шмыга расстроено и произнес сложное матерное ругательство — настолько грязное, что я вдруг вспомнил, как незащищен человек перед лицом природы и как страшна его биологическая судьба.

Это совершенно лишило меня способности к дальнейшему препирательству, и в ответ я только всхлипнул. Шмыга захохотал.

Его хохот, надо сказать, был гораздо ужасней его воя. Мое только что отвоеванное психическое равновесие снова нарушилось, ибо я понял — даже если со мной действительно говорит Шмыга, ничто не мешает его голосу быть по совместительству и голосом ада. Забегая вперед, скажу, что это подозрение так и не покидало меня с тех самых пор.

Не знаю, понимал ли Шмыга, какие вихри проносятся сквозь мою траченную французским экзистенциализмом душу. Думаю, подобные ему мучители, будь они из физического или духовного мира, не особо представляют, как именно их жертвы переживают низводимое на них страдание — они знают только, что те испытывают боль, и примерно чувствуют ее интенсивность.

— Ладно, — сказал он, отсмеявшись, — молодец. Я думал, дольше продержусь. Ты хоть понял, откуда я с тобой говорю?

И только тут до меня наконец дошло.

— Зуб? — спросил я.

— Именно. Я решил провести вводную беседу по секретному спецканалу. И уже ее провожу. Мотай на пейс и не вздумай жрать во время инструктажа... Готов?

Я лег на кровать и сказал:

— Готов.

Шмыга говорил примерно час.

К концу этого срока мне стало казаться, что в моей голове закипает чайник, и его крышку вот-вот сорвет паром. Но смысл доходил до меня хорошо, хоть я и не понимал многих технических подробностей, которыми была уснащена его речь. Подозреваю, Шмыга не понимал их и сам — по паузам в его рассказе чувствовалось, что он зачитывает научные термины и цифры по бумажке. Все это я опушу, тем более что толком и не запомнил.

Суть же была в следующем.

В эпоху заката СССР московские психиатры стали получать от некоторых граждан жалобы на раздающиеся в их голове голоса. Голоса сообщали о происходящем в мире, иногда пели, иногда поносили историю Отечества, а иногда, причмокивая, рассказывали о чудесах животворящего рынка.

Наиболее распространенным диагнозом в таких случаях была «вялотекущая шизофрения на фоне острой информационной интоксикации», или «перифрения», как новую болезнь окрестили по аналогии с перитонитом и перестройкой.

Первоначально больным назначалась лоботомия, но иссечение лобных долей мозга показало низкую эффективность. Некоторых пациентов удалось вылечить с помощью других сильнодействующих процедур старой советской школы, но такие случаи были редки, и к полноценной трудовой деятельности после этого они уже не вернулись.

В попытке лучше понять происходящее врачи принялись анализировать, что именно говорят голоса. И тогда было сделано удивительное открытие — оказалось, они полностью повторяли программы московских радиостанций. Другими словами, больные стали таинственным образом ловить радио без приемника.

Доктора начали выяснять, было ли что-то общее в биографиях пациентов. Оказалось, незадолго до появления голосов все они обращались в одну и ту же экспериментальную зубную клинику, где им поставили пломбы из нового биметаллического сплава.

Так было сделано открытие, что зубная пломба определенной формы, изготовленная из биметаллической пластинки, способна работать как радиоприемник, используя крохотные разности потенциалов, накапливающиеся в полости зуба. Этим феноменом заинтересовались спецслужбы, и информация была убрана из открытого доступа — или заменена дезинформацией. Больных перефренией вылечили стоматологи, и дальнейшей разработкой говорящих пломб стало заниматься совсем другое ведомство.

Работа шла все девяностые годы, временами останавливаясь из-за недостатка финансирования. Постепенно удалось создать пломбу, которая не только принимала сигнал и преобразовывала его в звуковую волну, поступающую в височную кость, но способна была на обратную трансформацию — превращала речь в электромагнитный импульс, излучаемый затем в пространство. Предполагалось, что такие пломбы можно будет ставить, например, разведчикам и диверсантам, чтобы вооружить их ультракомпактной системой связи.

Вскоре выяснились достоинства и недостатки нового метода. Меняя состав и конструкцию пломбы, можно было с высокой точностью настроить ее на прием определенной радиочастоты, исключив все остальные сигналы. Пломба могла принимать передачу, ведущуюся с большого расстояния. Но вот обратный сигнал из-за недостаточной мощности мог быть пойман только на расстоянии в несколько сот метров, и даже для этого требовалась громоздкая аппаратура.

В итоге военного применения новый тип связи не нашел. Служба внешней разведки тоже не проявила к нему интереса — это было время интернет-бума, и передача информации по радио казалась вчерашним днем.

Но недавно разведка вновь заинтересовалась советским открытием, только уже совсем в других видах.

— Дальнейшая информация, — пророкотал Шмыга в моем расплавленном мозгу, — является настолько секретной, что я смогу сообщить ее тебе только на ухо при личной встрече. И не удивляйся, Семен, если я это ухо потом откушу и съем.

Я, кстати, не понимал тогда, что все эти его «мотай на пейс» и «откушу ухо» были не рычанием зверя, то и дело напоминающего, как он страшен, а, наоборот, эдакой телячей лаской, угловатым приветом нашему детству. В сущности, Шмыга был очень одиноким человеком, и репрессированная нежность, которой не нашлось применения в его жизни, произвольно выходила из него болезненными уродливыми комками — словно сперма из монаха, уснувшего перед алтарем.

— Нас ждет полковник Добросвет, — сказал Шмыга, когда меня доставили в хорошо известное каждому москвичу здание. — Он все объяснит. Личность это выдающая, так что постарайся ему понравиться. Он будет с нами работать.

Буду ли с ними работать я, кажется, даже не подлежало обсуждению. Такая наглость обескураживала.

По дороге Шмыга немного рассказал об этом человеке. Раньше у него было другое имя, но теперь его называли именно так — полковник Добросвет, причем одно слово заменяло ему имя и фамилию. Он заведовал отделом спецвеществ и измененных состояний сознания — но был, как я понял из вскользь брошенной фразы, не просто драг-дилером ФСБ, а чем-то вроде главного консультанта по духовно-эзотерическим вопросам.

Шмыга относился к Добросвету с чрезвычайным уважением — это было видно хотя бы из того, что он, генерал, вел меня на встречу к полковнику. По словам Шмыги, в те годы, когда

Гайдар спасал страну от голода, а Чубайс от холода, Добросвет несколько раз сберег Россию от вторжений из кетаминового космоса, причем зону конфликта чудовищным усилием удалось удержать в границах его собственной психики, которая в результате сильно пострадала.

Он получил за свой подвиг Золотую Звезду героя. После этого травматического опыта он принял язычество, но по-прежнему оставался человеком свободного образа мыслей и готов был предоставить в наше распоряжение всю свою огромную эрудицию и опыт.

Добросвет ждал нас в пустом актовом зале.

Это был молодой еще человек — невысокий, полный, с рыжей бородкой и светлыми волосами. Он был весьма странно одет: его рубаха была густо расшита славянским орнаментом, а за плечами болталась соломенная шляпа пасечника. В руке он держал резной посох, увенчанный потрескавшимся бородатым божком. Весь его вид излучал спокойное благодушие и даже какую-то летнюю лень.

— Садитесь, друзья мои, — сказал он.

Мы со Шмыгой уселись в первом ряду, а пасечник забрался на эстраду, прислонил свой посох к стене и стал прогуливаться перед нами, задумчиво почесывая бородку. Я увидел, что он обут в лыковые сандалеты сложного античного плетения. Это его хождение уже начало мне надоедать, но Шмыга сохранял спокойствие.

— Скажите, Семен Исакович, вы верующий человек? — спросил вдруг Добросвет. — Только честно.

Шмыга повернулся и очень внимательно на меня посмотрел.

Я пожал плечами.

— Даже не знаю, как сказать. Верю, что-то такое есть. Какая-то сила, которая... Наводит порядок. Но в церковь не хожу. И в синагогу, если вы намекаете, тоже.

— И от религиозной схоластики с метафизикой вы тоже далеки?

Я развел руки в стороны, чтобы показать, как далек.

Добросвет кивнул, будто именно такого ответа и ожидал. Походив по сцене еще немного, он спросил:

— А как вы относитесь к уверенности некоторых граждан, что евреи правят миром? Не разделяете ли вы эту точку зрения глубоко в душе?

— Познакомьте меня с кем-нибудь из таких евреев, — ответил я. — Или хотя бы дайте телефон. Мне кажется, что они совсем про меня забыли.

Добросвет опять кивнул и еще немного походил по сцене.

— Возможно, — сказал он с загадочной улыбкой, — мы именно это и сделаем. Причем вселенский правитель может обнаружиться даже ближе, чем вы думаете.

— Во-во, — подтвердил Шмыга.

— Что вы имеете в виду? — спросил я напряженно.

— Не будем торопить события, — сказал Добросвет. — Я хотел бы, топ cher Семен, чтобы между нами сперва установились доверительные отношения. Для этого есть все необходимые условия. Хочу сразу сказать, что мы в нашей организации давно избавились от пещерного антисемитизма, которым страдали многие должностные лица Российской империи и Советского Союза.

— Неофициально могу добавить, — бросил Шмыга, — что мы считаем распятие Иисуса Христа внутренним делом еврейского народа.

Добросвет внимательно уставился на меня, словно ожидая благодарной реакции на такой щедрый аванс.

— Спасибо за понимание, — сказал я кротко.

— Так вот, — продолжал Добросвет, — насчет того, кто правит миром. Конечно, топ ami

Семен, это не евреи. Но это и не какой-то другой народ или формально организованная компания людей, хотя некоторые члены Бильдербергской группы и тешат себя такими мыслями, начитавшись антиглобалистских листовок. Скорее мировая власть является чем-то вроде блуждающего пятна света, куда попадают то одни, то другие — некоторые надолго, а некоторые всего на несколько секунд. Подробный анализ этого пятна занял бы у нас много времени, но для наших целей достаточно сказать, что в нем часто появляются люди, которых обобщенно называют «американские религиозные правые». Вы ведь про них слышали, Семен?

Я сделал неопределенный жест, способный означать все что угодно в диапазоне от «слышал много раз» до «расскажите, пожалуйста».

— Тогда, — продолжал Добросвет, — я коротко обрисую вам духовно-политические взгляды этой публики. Итак, американские религиозные правые — это люди, полагающие, что видимый нами мир был создан за шесть дней Богом, который сперва избрал в качестве любимого народа кочевое племя синайских скотоводов, но после своей трагической гибели на кресте изменил завет таким образом, что в конечном счете избранным племенем оказались Соединенные Штаты Америки. Пока ясно?

— Не очень, — сказал я честно.

— Неудивительно, — улыбнулся Добросвет. — Метафизика религиозных правых крайне сложна для восприятия. Дух синайской пустыни, беседующий с вождями кочевников, является для них Первопричиной, Альфой и Омегой, Богом с большой буквы «G». Причем Богом не в том смысле, в каком, по мнению суфиев или сикхов, им является абсолютно все, а в узко-эксклюзивном. Духи остальных пустынь уже не есть Бог, а все остальные страны — не богоизбранны. Догмат о богоизбранности Америки, который религиозные правые постоянно пытаются сделать фундаментом реальной политики, мало чем отличается от догмата о непогрешимости папы. Из него следует — все, что делает Америка, правильно, морально и справедливо по той простой причине, что это делает Америка. В той или иной степени так думает значительное число американцев...

Слушая этот бред степной кобылицы, я почему-то вспомнил тетю Люсю, жившую в Одессе через две улицы от нас. Ее племянник Алик был старше меня на десять лет — когда я только начинал ходить в школу, у него уже росли заметные бакенбарды. Он был единственный одесский еврей на моей памяти, который верил в Бога как положено, и Бог ему помог — Алик уехал в Америку и открыл на Брайтоне колбасный магазин, настолько кошерный, что колбаску там заворачивали только в журнал «Нью-Йоркер», отлежавший две недели, чтобы из бумаги испарились все ароматы.

И люди, которым жалко было покупать журнал, каждый день покупали у него колбасу, поскольку думали, что таким образом бесплатно поддерживают свою культурную эрудицию на мировом уровне. Хотя Алик, конечно, был не дурак и учитывал стоимость журнала в цене конечного продукта, да еще и добавлял приличную накрутку.

Но рассказывать Добросвету со Шмыгой об этом премилым курьезе я, повинувшись смутному инстинкту, не стал.

Добросвет тем временем уносился в ковыли все дальше и дальше:

— Если вдуматься, по сравнению с такой картиной мира мировоззрение германских нацистов покажется образцом научного позитивизма. Ибо нацисты провозглашали себя избранной расой на основе набора наукообразных тезисов — например, претензий на совершенную форму черепа. Теоретически можно было измерить циркулем много разных черепов и научно доказать Гитлеру, что он не прав. Религиозным правым доказать ничего нельзя, поскольку в их случае нет ничего такого, что можно было бы измерить циркулем. Они полагают себя богоизбранными исключительно на основании своей веры в то, что они избраны

Богом. Кроме того, они опираются на смутные пророчества сомнительных древних книг, заложником которых в результате становится весь мировой исторический процесс. Стоит подумать, что такие люди время от времени получают контроль над американской ядерной кнопкой, и становится попросту жутко...

У Шмыги забибикал телефон. Он посмотрел на экранчик и не стал отвечать. Однако его лицо несколько помрачнело.

— Ярким представителем религиозных правых является нынешний президент США Джордж Буш, — продолжал Добросвет. — И здесь я хочу сделать одно важное замечание. Либеральные СМИ Запада тщательно внедряют в массовое сознание мысль о том, что сорок третий президент США — совершенный идиот. Английские карикатуристы изображают его в виде обезьяны с волосатыми ушами и вытянутым трубочкой ртом. Нью-йоркские комики сравнивают Буша даже не с Гитлером, а с тупым лопухим имбецилом, который мог бы стать Гитлером, будь у него побольше мозгов. Но выпускник Йеля Буш, разумеется, вовсе не вульгарный простец, чудом затесавшийся во власть. Его только позиционируют таким образом. Причем, что самое интересное, занята этим в первую очередь его собственная пиар-служба.

— Но зачем? — спросил я.

Добросвет мудро улыбнулся.

— Семен, — сказал он, — такой подход нам действительно трудно понять. Россия — последний оплот древней евразийской культуры. Ее традиции требуют, чтобы медийный образ высших должностных лиц отражал в первую очередь то уважение, которое испытывает к ним народ, вверивший им свою судьбу. А в Америке ценится не блеск безупречного стиля, а способность достучаться до сердца тупого красномордого избирателя, для чего рафинированных выпускников элитарных университетов превращают в простых парней из народа, от которых вздрогнет и Бирюлево...

Шмыга поглядел на часы и спросил:

— А что ты думаешь, Семен... Бирюлево вздрогнет от Буша?

— Это смотря с какой скоростью Буш в него врежется, — ответил я дипломатично.

Шмыга удовлетворенно кивнул.

— Такой пиар-стратегией, — продолжал Добросвет, — и объясняется преследующая Джорджа Буша еще с губернаторских времен слава косноязычного придурка. Каждый раз, когда либеральные СМИ начинают издеваться над манерами президента или смаковать очередной его «бушизм», кулаки потенциального избирателя где-нибудь на Среднем Западе сжимаются от гнева к оборзевшим мультикультурным элитистам, и в копилку республиканцев падает очередной голос. «Бушизмы», по нашим сведениям, выдумывает специальная креативная группа прикоманде президентских спичрайтеров, которая называется «Dubya squad». Однако было бы упущением считать, что медийный образ Джорджа Буша фальшив на все сто процентов. Его истовая религиозность, привлекающая к нему консервативный электорат, является на сто процентов искренней — хотя и немного необычной для такого блестяще образованного человека, как сорок третий американский президент. Шмыга еще раз поглядел на часы.

— Это странное на первый взгляд противоречие между университетским образованием и верой в набор дичайших суеверий, — продолжал Добросвет с воодушевлением, — было разрешено больше тысячи лет назад христианским богословом Тертуллианом. Credo quia absurdum est, возглашет тот. Верую, ибо абсурдно...

— Сворачивай, Добросвет, — перебил Шмыга. — А то уже латынь пошла. Еще будет время. Ты о главном скажи, пока я здесь.

Добросвет откашлялся, потом оглянулся по сторонам, словно проверяя, одни ли мы по-прежнему в зале.

— Короче, Семен, чтобы долго тебя не мучить, — сказал он негромко. — У Буша в зубе такая же пломба, как у тебя. А знают про это три человека. Теперь уже четыре. Четвертый, чтобы ты понимал, зубной врач.

— Так, — сказал я, быстро соображая, — так... Это ведь очень опасно — знать такие вещи. Ну, зубной врач понятно, он ваш агент. Вы двое — тоже понятно. А зачем про это знаю я?

— А затем, — прошептал Шмыга, наклоняясь прямо к моему лицу, — что ты теперь будешь работать Богом. Богом, который будет говорить с Бушем и давать ему правильные советы.

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы до меня дошел смысл этих слов. Потом я поглядел Шмыге в глаза. С таким же успехом можно было глядеть на две безумные оловянные пуговицы.

— Владик, — попытался я достучаться до его рассудка, — ты же еще в детстве написал в моем личном деле, что я говорю со смешным еврейским акцентом. И это чистая правда. Как, по-твоему, я смогу выдать себя за Бога?

— Это твое дополнительное достоинство, Семен, — вмешался Добросвет. — А вовсе не недостаток. *Credibile est, quia ineptum est!* Правдоподобно, ибо нелепо! Если Бог может избрать своим народом кочевое племя скотоводов, почему бы такому Богу не говорить с еврейским акцентом? Для американских религиозных правых это будет вдвойне убедительно.

— Но я ведь темный в вопросах веры человек. Буш это быстро поймет.

— Не волнуйся, Семен, — сказал Шмыга. — Мы тебя подготовим. Добросвет разработал специальный экспресс-курс. Завтра ты переезжаешь на нашу базу за городом. И следующие два месяца у тебя будут довольно напряженными.

— Но почему я?

— Исполнителя мы искали долго, — сказал Шмыга. — Как ты понимаешь, нужен хороший английский. Но главное... Нужен совершенно особый талант. Бог не может говорить так, как все люди. Будешь смеяться, но я тут же вспомнил о твоих ночных представлениях. Чисто для галочки подняли информацию. Оказалось, ты в Москве. Мало того, преподаешь английский. Сходили к тебе на курсы, послушали. И поняли, что второго такого кандидата у нас нет.

— А если я откажусь? — спросил я.

— Скорей всего, попадешь в автокатастрофу, — сказал Шмыга. — И я буду плакать, честное слово. А сделаешь все как надо, дадим тебе миллион американских долларов и отпустим. Не бойся, не обманем. Для нас это смешные деньги. Не надо даже по ведомости проводить.

— Операция называется «*Burning Bush*», — сказал Добросвет. — Мы дали ей английское название, потому что в нем два смысла, которые ты сразу поймешь. Горящий куст — это одно из библейских лиц Бога. Ну а паленый Буш есть паленый Буш...

Я догадывался, что занятия вряд ли будут проходить в школьном классе. Но я не ожидал, что они будут проходить в ванне.

Правда, выглядела она как серая цистерна с люком на торце. Цистерна стояла в небольшой желтой комнате, похожей на торпедный отсек субмарины. Это было опытное и, как водится, секретное изделие ВПК, так называемая «камера сенсорной депривации», в которой Добросвет и совершил когда-то свои невидимые миру подвиги. Теперь ее перевезли на специально оборудованную базу войск связи, о которой я расскажу чуть позже.

Устроена камера оказалась более чем просто — в сделанную из композита цистерну был

налит сверхконцентрированный соляной раствор плотностью примерно как вода в Мертвом море, подогретый до температуры тела. Еще там имелись вентиляционные окошки и кнопки «свет» и «тревога». Называлась ванна «изделие „Самашки-1“».

Забегая вперед, скажу, что через несколько лет на рынке появилась коммерческая версия этой камеры под названием „Самадхи-1“, но от хайтековского военного шика в ней не осталось и следа — она стала тесным пластмассовым пеналом самого бюджетного вида.

— Если мы начнем учить теорию, Семен, — сказал Добросвет при нашей следующей встрече, — у нас уйдет на это много лет. Причем вовсе не факт, что будет польза, поскольку теорий в этом вопросе много, и никто не знает, какая из них правильная. Мало того. Все религии и духовные учения спорят между собой по множеству поводов, но сходятся в одном — объяснить человеку, что такое Бог, невозможно. Вернее, можно объяснить человеку концепцию Бога, и она станет частью его умственного багажа. Но это не значит, что человек познает Бога. Это значит, что на его горбу появится еще один чемодан барахла, который он понесет с собой на кладбище. Бога можно только непосредственно пережить.

— У вас был такой опыт? — спросил я как можно невинней.

— Дело не в том, — ответил с безмятежной улыбкой Добросвет, — был ли он у меня. Дело в том, что он должен появиться у тебя, причем в поставленные руководством сроки.

— А зачем нам это?

— Семен, — сказал Добросвет, — ты должен убедить Буша в том, что ты Бог. А Буш ведь совсем не дурак. Как ты собираешься это сделать, если не сможешь войти в образ?

— В какой образ?

— Вот это нам и предстоит выяснить.

И он положил ладонь на серый бок цистерны.

Занятия проходили, как выразился Добросвет, „по классической схеме“, хотя я не очень понимал, какой смысл он вкладывает в эти слова.

Сначала он лично давал мне выпить стаканчик кваса с растворенными в нем „усилителями осознанности“, как он их называл. Надо сказать, что я терпеть не мог кваса и все время просил заменить его каким-нибудь сладким софт-дринком, но Добросвет отказывался, говоря, что квас дает самый лучший метаболический эффект. Я не верил ему, предполагая, что дело здесь в языческом суеверии, но поделаться ничего не мог. Насколько я понимал, у его квасной психоделии не было постоянной рецептуры, и он все время экспериментировал, но одним из рабочих ингредиентов было вещество ЛСД-25, которое, по его словам, почти не оказывало на меня эффекта.

Сразу хочу сделать замечание для любителей психотропов — не пробуйте повторить ни один из этих опытов! У вас ничего не выйдет, потому что занимавшиеся мной специалисты имели доступ к секретным веществам, доступным только фармакологам спецслужб, и вам никогда не удастся воссоздать ту формулу, которая приводила к описанным ниже результатам. Вы только нанесете невозполнимый ущерб своей психике и здоровью — как это и произошло в конце концов со мной.

С отвращением проглотив квас, я затыкал уши резиновыми пробками, залезал в цистерну, закрывал за собой люк, поворачивался спиной вперед и осторожно ложился в нагретую до температуры тела воду. Вода была так густо напитана солью, что я плавал в ней, как поплавков — и через несколько минут совсем переставал ее замечать.

В темной и чуть душной камере не было никакой разницы, закрыты глаза или открыты, потому что видели они одно и то же — густопсовую черноту. Вскоре я совсем переставал чувствовать свое тело и вспоминал о нем только тогда, когда оно, медленно дрейфуя, натыкалось на один из бортов. Но постепенно прекращались и эти редкие толчки, и вокруг не

оставалось ничего, кроме предвечной тьмы. В общем, все становилось точь-в-точь как до сотворения Земли — вот только Дух Божий не носился над водою.

Именно это Добросвет и собирался поправить.

Я привыкал к происходящему постепенно, и не стану утомлять читателя подробным описанием своих переживаний. Бывали у меня и кошмары, когда мне приходилось жать на кнопку „тревога“ (после этого меня быстро вытаскивали наружу и давали пить крепкий чай), были периоды, когда я попросту засыпал, и тогда меня будили легким стуком по цистерне.

Случались и такие сеансы, когда не происходило вообще ничего — словно я был не психонавтом, лежащим в камере сенсорной депривации, а килькой в томате, достигшей абсолютного единства с мирозданием и не думающей теперь ни о чем.

Но к концу третьей недели мои ежедневные сессии (каждая из которых длилась около трех часов) стали весьма походить друг на друга.

Сначала я проваливался в свои обычные мысли — причем так глубоко, что совершенно забывал, где нахожусь и зачем. Я мог вспоминать об Одессе моего детства, сводить мысленные счета с какой-нибудь гадиной с курсов „Intermediate Advanced“ или тоскливо прикидывать, что меня, наверно, в конце концов убьют — ведь не могут же эти гниды отпустить человека, которому они столько успели рассказать.

Но примерно через полчаса (или час — точное время зависело от состава) начинал действовать квасок Добросвета и картина менялась.

Давление мыслей слабело, словно им становилось все труднее догонять меня на своих кривых черных ножках. Потом они пропадали совсем, и выяснялось, что я не Семен Левитан, про которого я знаю все, а некое безымянное присутствие, пронизанное вспышками редких и очень красивых огоньков. И про это безымянное присутствие я не знал ничего, потому что про него нечего было знать в принципе. В нем можно было только пребывать, а стоило начать о нем думать, и его полностью заслоняли мысли. Тогда там, где оно мерцало миг назад, вновь возникал постылый думатель и знатель.

Но времени на анализ этих переживаний у меня не оставалось — как только квасок входил в полную силу, оживал мой радиозуб.

Когда вмонтированный в меня голос Родины заговорил в первый раз, я чуть не захлебнулся от испуга. Зуб молчал все время после первой беседы со Шмыгой, и никто не предупредил меня, что его собираются использовать.

И вдруг моя сокровеннейшая глубина заговорила звучным женским голосом:

— Согласно Бердяеву, к Богу неприменима низменная человеческая категория господства. Бог не господин и не господствует. Богу не присуща никакая власть, Ему не свойственна воля к могуществу, Он не требует рабского поклонения невольника. Бог есть свобода, Он есть освободитель, а не господин. Бог дает чувство свободы, а не подчиненности...

И так далее.

Видящий эти слова на бумаге вряд ли поймет, что происходило в темной камере, где они действовали совсем иначе, чем обычная человеческая речь. Они как бы прорезали мое сознание насквозь, полностью заполняя его своим значением, и становились единственной и окончательной реальностью на то время, пока звучали.

Все дело было в квасе Добросвета. Он постоянно экспериментировал с составом, и эффект был то слабее, то сильнее — но каждый раз мне приходилось осознавать взрывающиеся в моем мозгу смыслы с какой-то загробной необратимостью. Я проваливался в прочерченную ими борозду, чтобы мучительно умереть в ней зерном, которому еще предстояло взойти. Всякий раз это была агония, потому что спрятаться от звучащих в моем черепе голосов во влажной черноте было совершенно некуда — и я становился добычей любого настигавшего меня шепота.

Добросвет со Шмыгой организовали мой тренинг со свойственным их ведомству цинизмом. Они приглашали в центр подготовки самых разных людей, сажали их перед микрофоном, якобы для участия в радиопередаче, и просили поделиться сокровенным — сказать что-нибудь о Боге. Обычно от каждого ждали пятнадцати-двадцати минут эфира.

Если перед микрофоном оказывался священник, чаще всего он читал священные тексты своей конфессии. Артист декламировал какой-нибудь посвященный Всевышнему художественный отрывок, обычно стихи. Философ уходил в малопонятные мне метафизические дебри.

Видимо, все эти люди полагали, что служат хорошему делу, а сказанное ими дойдет до зевающих оперативников по какой-нибудь внутренней фээсбешной радиосети и сделает их чуть человечнее и добрее. Они и представить не могли, что их слова принудительно трансформируются в психическую реальность в мозгу подвешенного в черной вечности человека, полностью лишённого обычного иммунитета к чужой речи.

Как ни странно это прозвучит, чаще всего меня радовала исламская духовная образность — хотя транслировавшие ее голоса, судя по разбойной хрипоте, принадлежали временно вписанным в вертикаль чеченским бандитам, которые наверняка зарезали бы меня, не моргнув и глазом:

— Истинно, Всемогущий Господь имеет вино для Своих друзей; и оно таково, что, когда они пьют его, оно пьянит их; опьяненные, они радуются; возрадовавшись, они расслабляются; расслабившись, они смягчаются; смягчившись, они очищаются; очистившись, они достигают; достигнув, они воссоединяются с божественным; воссоединившись, они теряют различия...

Я не понимал, о чем эти слова, но душа понимала, и успокаивалась, и радовалась чему-то.

За два с лишним месяца подготовки сквозь мой распластаный в темноте ум прошли рассудительные хасиды Мартина Бубера, прекрасный голый мальчик Мейстера Экхарта (тот был католиком), Кришна из Бхагават-Гиты, Парабрахман и Атман, Логос Даниила Андреева, сокрытый человек Якова Беме и многие другие формы, сквозь которые человек прозревал Сущего.

Но самое удивительное было в том, что слушателем в этом странном опыте был не совсем я. Голоса обращались не к Семену Левитану, а к какому-то его аспекту, загадочному и таинственному для меня самого.

Получалось прямо как в одесском анекдоте про даму с собачкой, которая садится в такси. Таксист поворачивается и спрашивает: „Куда сучку везешь?“ Дама, натурально, говорит: „Это не сучка, а кобель“. А таксист ей: „Я не с вами говорю, мадам“. Вот так же и в моем случае. Высокие и великие умы говорили не со мной, а с какой-то сидевшей на заднем сиденье моего ума собачкой, которая единственно представляла для них смысл и ценность — а в мою сторону даже не смотрели.

Было немного обидно, и порой я начинал размышлять, кто же такой настоящий я? Семен Левитан или эта неведомая собачка? Но ответа не было. В общем, в великом „Я и Ты“ Мартина Бубера в наличии пока имелся только элемент „Я“, да и то становилось все непонятней, в каком углу цистерны с соленой водой его искать.

Не буду пересказывать услышанное в те дни. Секрета здесь нет — священные книги человечества открыты для всех, мировая философия и поэзия тоже. Я, конечно, узнал много нового — но нельзя сказать, что я лучше стал понимать Бога. Наоборот, про Него было ясно все меньше и меньше. И скоро я превратился в дрожащий под каждым смысловым дуновением лист — моя беззащитная душа устрасалась всякий раз, когда звучавшие в ней строки были грозно-темными, и радовалась, когда они оказывались добрыми, светлыми и простыми.

А порой мне читали такие стихи, что эти чувства настигали одновременно:

— Пугают путь им лукавые черти.
Даль просыпается в россыпях солнца.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Мук не приявший вовек не спасется...

И постепенно мне стало понятно, чего от меня ждут: вот так же прогреметь полными непостижимой простоты словами в чужом сознании, оглушить его и угнать, как угоняют машину или самолет.

5

Сеанс сенсорной депривации, когда произошло самое главное событие моей жизни, я запомнил в мельчайших подробностях.

Все началось как обычно. Минут через сорок после того, как я погрузился в соленую воду, квасок Добросвета начал действовать, и я полностью слился с темной влажной тишиной. Редкие мысли, возникавшие в моей голове, казались сами себе настолько громоздкими и неуклюжими, что, словно устыдившись своего уродства, исчезали сразу после того, как отражались в зеркале моего неподвижного ума.

И вдруг это ровное зеркало разбила кувалда загремевшего в моем мозгу баса:

— О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог!

Своими жирными интонациями чтец напоминал типичного диктора какой-нибудь московской FM-радиостанции. В уме сразу возникал образ эдакого в меру наглого, скользко-оборотистого и хитрожопо-нахрапистого субъекта рыночных отношений, вооруженного смартфоном последней модели. Видимо, помощники Шмыги решили сэкономить на артистах и наняли по дешевке одного из тех молодцев, которые смердят в эфире своими руладами о дешевых кредитах и мгновенной продаже жилплощади.

Я все-таки отвлекся — и стал думать о том, что московский радиобизнес достоин всяческого уважения за свою способность паразитировать на западной попсе, которая сама насквозь паразитична: надо все-таки уметь не просто ежедневно сосать кровь у вампиров, но еще и серьезно отравлять при этом воздух над огромной территорией...

Впрочем, думал я, одно дело вести такой бизнес самому, а совсем другое — слушать радио. Этого не надо делать никогда, особенно за рулем.

Человек сидит за баранкой, глядит в ветровое стекло, за которым творится сами знаете что,

и совершенно не замечает, какие изоощренные смысловые гарпуны вонзаются в его сосредоточенный на дороге мозг. Это, извиняюсь, как если бы он под гипнозом стоял раком без штанов и даже не видел, кто и в каком порядке пристраивается к его заду — а местами в очереди торговал бы коммерческий отдел радиостанции.

А ведь кроме рекламы там есть еще и песни. Их вообще надо анализировать вместе с психиатром куплет за куплетом. Вот так поездил денек по Москве — и встал из-за баранки лет на десять старше и мудрее, с особым блеском в глазах и твердым намерением завтра же взять кредит под смешные проценты... Ой-вей, и ведь все, что окружает человека в современном городе, имеет практически ту же природу. Какое уж тут задуматься о Боге.

Тут я понял, что слишком глубоко провалился в размышления о радиобизнесе — а все потому, что читать подобные стихи должен человек, у которого есть хотя бы зачаток бессмертной души. Вместе с тем, я не пропустил ни одной стихотворной строчки, потому что мой освобожденный от тела ум развивал удивительную скорость: вся эта цепь мыслей заняла лишь крохотную долю секунды.

— Не могут духи просвещенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает,
В твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг!

Неожиданно моя мысль вознеслась к чему-то бесконечно-высокому и прекрасному, и тут же, как и было обещано, исчезла. Но, перед тем как она исчезла, я все же успел понять, что такой невообразимый взлет возможен, и это прекрасное — на самом деле существует в его высшей точке...

— Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек...

Когда ослепительная вспышка света, в которую превратили меня эти строки, опять сменилась сырой тьмой, я понял, что Добросвет сегодня дал мне какой-то особенно мощный коктейль — и перевел мой подвешенный в невесомости ум в режим форсажа.

Мне приходилось переживать смысл каждого слова с небывалой силой и ясностью. Я не просто пропитывался чужим мистическим опытом — он делался моим. Мне стало страшно, потому что я понял: стоит мне расслабиться, и эти гэбэшные сволочи действительно заставят меня познать Предвечного.

— Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от тебя родятся...

Я увидел эти искры — или, точнее, опять заметил. После кваса они начинали роиться в темноте примерно на сороковой минуте каждого сеанса — но можно было перестать обращать на них внимание, и тогда они исчезали.

— А я перед тобой — ничто.
Ничто! — Но ты во мне сияешь
Величием твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод...

Мне показалось, что я стал огромной каплей, в которую влилась вся сверхсолёная вода из ванны, где я парил. И что-то неизмеримое и ослепительное уже готово было отразиться во мне, но помешал проклятый чтец, — кажется, он перепутал строчки, сбился с ритма и сразу загнусавил чуть быстрее:

— Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я Бог!

Дальше я постараюсь точно описать посетившие меня переживания в порядке их появления — вслед за вызвавшими их словами.

Сначала мое тело истлело во прахе. Оно разлагалось очень долго, наверное, сотни лет. Потом раздался оглушительный удар грома, прах рассеялся легким облаком, и я понял, что теперь я свободный ум, который может стать чем угодно.

И я стал царем. Это было неприятно и тревожно, потому что я знал: скоро меня с семьей расстреляют в подвале романтические красные часовщики.

Потом я сделался рабом. Это было как прийти лишний раз на курсы „Intermediate Advanced“ в восемь тридцать утра.

Наконец я стал червем. Это был особо унылый момент — мне показалось, что время остановилось, и я теперь вечно буду рассказывать о мобильном тарифе „любимый“ в бесконечной эфирной пропасти между последним гэггом Сидора Задорного и шансоном „Брателла сам отнес матрас на петушатник“.

А потом я вдруг стал Богом.

Как передать тот миг.

Знаете, все эти приторные индийские метафоры насчет того, что Бог и его искатель подобны паре возлюбленных — это таки самая настоящая правда. Здесь, конечно, не такая любовь, после которой остаются детки или хотя бы песня „Show must go on“. И все же из человеческого опыта этот миг сравнить больше не с чем.

Так же замирает сердце перед сказочной невозможностью того, что сейчас произойдет, так же побеждаешь смущение и стыд, перед тем как полностью открыться — но только в убогой земной любви через десять минут уже понимаешь, что тебя просто использовала в своих целях равнодушная природа, а здесь... Здесь обещание чуда действительно кончается чудом. И описать это чудо, как оно есть, нельзя. То есть можно, но слова не позволят даже отдаленно представить описываемое.

И все-таки самое важное я попытаюсь сказать. Знаете, часто в нашем мире ругают Бога. Мол, бензин дорогой, зарплата маленькая и вообще мир исходит гноем под пятою сатаны. И

когда люди такое говорят, они в глубине души думают, что чем больше они так гундосят, тем больше процентов Бог им должен по кредиту доверия — ведь все теперь ушлые, хитрые и понимают, как выгодно иметь за душой свой маленький международно признанный голодомор. И я тоже, в общем, примерно так рассуждал.

И вдруг я понял, что Бог — это единственная душа в мире, а все прочие создания есть лишь танцующие в ней механизмы, и Он лично наполняет Собой каждый из этих механизмов, и в каждый из них Он входит весь, ибо Ему ничто не мелко.

Я понял, что Бог принял форму тысячи разных сил, которые столкнулись друг с другом и сотворили меня — и я, Семен Левитан, со своей лысиной и очками, весь создан из Бога, и кроме Бога во мне ничего нет, и если это не высшая любовь, какая только может быть, то что же тогда любовь? И как я могу на нее ответить? Чем? Ибо, понял я, нет никакого Семена Левитана, а только неизмеримое, и в нем самая моя суть и стержень — то, на что наматывается весь остальной скучный мир. И вся эта дикая кутерьма, на которую мы всю жизнь жалуемся себе и друг другу, существует только для того, чтобы могла воплотиться непостижимая, прекрасная, удивительная, ни на что не похожая любовь — про которую нельзя даже сказать, кто ее субъект и объект, потому что, если попытаешься проследить ее конец и начало, поймешь, что ничего кроме нее на самом деле нет, и сам ты и она — одно и то же. И вот это, неопишное, превосходящее любую попытку даже связно думать — и есть Бог, и когда Он хочет, Он берет тебя на эту высоту из заколдованного мира, и ты видишь все ясно и без сомнений, и ты и Он — одно.

Как будто я летел за вихрем искр, и был одной из искр и всем вихрем, и смеялся и пел на разные голоса... Продолжалось это совсем недолго, не больше секунды, но за эту секунду я познал так много сокровенного, что странные и непостижимые видения преследовали меня потом не один год. Словно я зашел в небесный дворец по другому делу — хотя довольно непонятно, какие вообще могли быть дела у Сени Левитана в небесном дворце, — и случайно заглянул в ковчег великой тайны...

Я увидел ангелов в дарованной им силе и славе. Я ощутил их просто как сгустки силы, могучие законы и принципы, на которых покоится мир. Если я скажу, например, что закон всемирного тяготения — это один из ангелов Божьих, так вы просто засмеетесь. А между тем, так оно и есть. Мыслящий человеческий ум, который подвергает все сомнению — тоже один из ангелов, и таковы же пространство и время, рождение и смерть.

Некоторые из ангелов поистине страшны, особенно Смерть и Ум, и если понять, что они делают с человеком и как это выглядит на самом деле, так можно сойти с ума от страха. Но Бог всегда в человеке, и не надо бояться ангелов, потому что именно из человека Бог на них смотрит, и поражается, и смеется, и плачет, как дитя... И много других тайн увидел я в тот момент, записать их все не хватило был длинного свитка. А думать, что такие вещи можно писать карандашом по бумаге, мне даже как-то смешно.

Потом я лежал в соленой воде, и слезы двумя ручьями текли из моих глаз, и я уже знал, что одна эта секунда искупила и все мои беды, и все страдания мира.

— Господи, — прошептал я, — ты поразил меня в самое сердце...

— Тысяча семьсот восемьдесят четвертый год, — отозвался в моем черепе сальный бас радиодиктора. — Гавриил Романович Державин. Ода „Бог“.

предательством самого чудесного переживания, которое было у меня в жизни.

Внешне все продолжалось по-прежнему: я проглатывал стаканчик психотропного кваса и нырял в свою цистерну, после чего в моем мозгу начинали звучать голоса, рассказывающие о Боге. Но теперь все было по-другому. Теперь я знал, о чем они говорят, и мог отличить правду от вымысла или уродливых спекуляций мертвого интеллекта.

Мне не надо было для этого даже слишком задумываться. Когда я слышал неправду, она оставалась просто словами. А когда я слышал правду, я сразу же переживал ее, и передо мной открывалось еще одно лицо Бога, которых у Него оказалось бесконечное число. Чудесное происходило опять и опять.

Но ужас был в том, что я не мог пережить слияние с Абсолютом без депривационной камеры и кваса, которым поил меня Добросвет. Когда я снова обретал свое человеческое тело, мои духовные очи зарастали коростой тревог, обид и желаний, облеплявших мой ум, как только я вылезал из соленой воды. Я пытался бороться, но каждый раз неподконтрольные мне психические силы перехватывали власть над моим рассудком, и я превращался в такой же неодушевленный механизм, как те, что ходили вокруг.

Вернее, дух во мне был, и это был дух Божий, равно пронизывающий всех и вся, но он и не думал прикасаться к рычагам управления, как ребенок не трогает заводную машинку, которую пустил по полу. И все мы были такими машинками, и, как ни смешно это звучит, воистину должны были славить играющего в нас ребенка — ибо он был всеми нами, и вне его нас просто не существовало. Но рассудку этого никогда не понять, ибо у этого ангела совсем другая служба.

Одним словом, я попался на крючок. Пока меня пускали в депривационную камеру, где меня раз за разом встречал Бог, я не ушел бы от Шмыги с Добросветом по своей воле — и дело было уже не в миллионе долларов.

Однажды после сеанса меня привели в комнату мониторинга, где сидели они оба.

— Ну как, Семен? — спросил Шмыга.

Переживания последних недель сделали меня застенчивым и пугливым — не зная, что ответить, я, должно быть, косился на них, словно выпавший из гнезда птенец.

— Чего не брешься?

Птенец уже давно не брился, это была правда.

— Там вода очень едкая, — пришел мне на помощь Добросвет. — Если бриться, щеки режет.

— Помнишь еще, значит, — усмехнулся ему Шмыга и опять повернулся ко мне. — Как проходит подготовка?

Я уклончиво пожал плечами.

— Достиг? — спросил он.

— Чего именно?

Шмыга положил на стол маленький диктофон и нажал на кнопку. Я вдруг услышал свое собственное тихое бормотание.

— Нет, ты таки не понимаешь, Мартин... Вот когда ты говоришь про диалог еврея с Богом. Ну о чем Богу говорить с евреем? Такой диалог... — и тут мой голос налился размеренной левитановской силой и стал ликующе-победоносным, а все произносимые им слова сразу сделались увесистыми и серьезными, как названия большой кровью отбитых у врага городов, — такой диалог, Мартин, делается возможным только после того, как Бог поднимет еврея до себя. А когда такое случается, Мартин, еврей в силу самой этой высоты становится Богом, ибо на высоте Бога есть только Бог. И говорить там, Мартин, уже особо не о чем, потому что все ясно и так... Но мы... — и тут вместо Левитана-диктора я снова услышал Левитана-лузера, — но мы один раз уже так обожглись на этом вопросе, что давать своих советов я не стану и лучше тихо

промолчу...

Шмыга выключил магнитофон.

— С кем это ты беседуешь? — спросил он подозрительно.

— Я... Я не знаю, — ответил я. — Я вообще не помню, чтобы когда-нибудь такое говорил.

— Не помнишь, — сказал Шмыга, — потому что говорил во сне. А пленочка все помнит...

Зубик-то у тебя, Сеня, работает не только на прием, но и на передачу.

— Это он с Мартином Бубером дискутирует, — вмешался Добросвет. — Мы ему в ванне эту тему пару раз прокачивали, так Сеня, видно, запомнил и теперь во сне с ним спорит.

— А что за Бубер?

— Агент мирового сионизма, — сказал Добросвет. — Даже не агент, а самый, можно сказать, махровый мировой сионист.

— Чего ж ты ему таких соловьев-то ставишь? — нахмурился Шмыга.

— А иначе нельзя, товарищ генерал, — ответил Добросвет. — Мы ведь его не к концерту во Дворце Съездов готовим. А сами знаете к чему.

— Вообще-то да, — согласился Шмыга и сделал серьезное озабоченное лицо — какое крепкие задним умом бюрократы вроде Ельцина делают, когда хотят показать государственную важность своей думы.

Посидев так с минуту — но так и не поделившись с нами своей высокой мыслью, — Шмыга поднял на меня взгляд и спросил:

— Так о чем ты с ним спорил? Что-то я суть вопроса не до конца ухватил.

— А вы спецквасу попейте, — сказал я, дерзко глядя ему в глаза, — а потом ложитесь в ванну на недельку. Тогда, глядишь, и ухватите.

Но Шмыга не обиделся. Он вдруг улыбнулся с неожиданной теплотой и сказал:

— Сколько тебе раз повторять, Сеня. Мы с тобой на „ты“. На „ты“, понял? Больше никогда меня так не обижай.

Нет, все-таки Шмыга был не такой простой человек, каким хотел казаться в служебном кругу, и я постепенно начинал это понимать. Некоторое время я выдерживал оловянное давление его глаз, а потом подумал, что могу случайно вспомнить их в депривационной камере, и отвел взгляд.

— Думаю, он готов, — нарушил тишину Добросвет.

— Я тоже так думаю, — сказал Шмыга. — Будем понемногу начинать. Как там дела с ангелами?

— Ангелы в полной боевой готовности, товарищ генерал, — ответил Добросвет. — Две эскадрильи.

Как оказалось, я был не единственным участником операции — кроме меня, в ней действовали еще и „ангелы“. Разумеется, это были не настоящие ангелы, о природе которых я говорил выше. Так Шмыга с Добросветом называли голоса, которым предстояло зазвучать в черепной коробке американского президента вместе с моим.

Мне в операции отводилась роль тарана. Вещая из своей депривационной камеры, я должен был привести Буша в состояние религиозного транса. А вот конкретные указания относительно того, что ему делать, чтобы выполнить волю Божью, должны были давать ангелы. Моя задача была, конечно, сложнее, поскольку мне предстояло вступить с Бушем в живое общение. А веления ангелов предполагалось прокручивать в записи, чтобы не допустить никаких ляпов.

В качестве ангелов были задействованы выросшие на Западе дети дипломатов, говорившие на английском с младенчества: с ангельским произношением не должно было быть никаких промахов, ибо неподсуден человеческому разумению один лишь Господь.

Ангелам, разумеется, не объясняли, в чем именно они участвуют — им говорили что-то смутное об озвучке секретных фильмов и убедительно просили держать язык за зубами, чтобы у родителей не было проблем по службе. Семьи дипломатов, как объяснил Добросвет, живут на таком градусе паранойи, что полная секретность после такой просьбы была гарантирована.

Записывали деток по-отдельности — примерно как людей, чьи голоса я слышал в депривационной камере. На одного ангелочка приходилось всего по нескольку фраз в каждом из ангельских посланий, и разбивать текст старались таким образом, чтобы никто из детей не мог понять, о чем на самом деле речь.

Когда выяснилось, что о содержании ангельских посланий не буду знать даже я сам, во мне впервые затеплилась надежда все-таки выпутаться из этой истории живым. Кстати сказать, через несколько месяцев я случайно увидел на базе одного из ангелов, девочку лет одиннадцати с теннисной ракеткой под мышкой — и умилился, и тихо позавидовал чужому светлому детству.

У Шмыги на базе был собственный маленький кабинет — он был не так гламурен, как московский, но его тоже украшали фотографии знаменитостей и сувениры: снимок бледного Бадри Патркацишвили, которому молодой Шмыга что-то назидательно говорил на ухо, кубок „Лучшему биатлонисту части“ и сушеная морская звезда бледно-красного цвета с либерально подогнутыми лучами.

Туда он и вызвал меня для последней беседы перед началом операции. То ли для простоты, то ли для задушевности он старался говорить со мной на языке моего детства — и, видимо, употребил все словечки, которые запомнил с тех времен.

— Слушай сюда, Семен. Твоя задача промыть Бушу мозги на эмоциональном уровне. Но о делах с ним говорить ни в коем случае не надо. Потому что тут ты можешь облажаться. Когда он придет в кондицию, ты должен сказать что-то типа „остальное тебе поведают мои ангелы“, и сразу отключиться. И если этот склифосовский задаст тебе конкретный вопрос, тоже говори — „тебя вразумят мои ангелы“. Сам даже не пробуй. Тогда гарантированно не будет никаких проколов. Понял схему?

— Схему я понял, — ответил я. — Я не понял, что мне ему говорить.

Сидевший напротив Шмыги Добросвет засмеялся.

— А этого, Семен, тебе никто не скажет. Мы тебя два месяца каждый день удивляли. Теперь твоя очередь удивить нас. Всю информацию, какую могли, тебе предоставили. Религиозные переживания у тебя были, это мы научно засекли. Ты по всем показателям должен быть другим человеком.

— Что за показатели? — спросил я.

— Добросвет вон целый отчет написал, — сказал Шмыга и протянул мне серый скоросшиватель, из которого торчало несколько закладок. — Хочешь, почитай.

Я перевернул обложку из казенного серого картона и прочел:

„Проведенные на Западе электроэнцефалографические исследования проходящих переподготовку лондонских таксистов и медитирующих на безбрежном сострадании тибетских лам убедительно доказывают, что повторяющийся опыт глубоко изменяет структуру нейронных связей головного мозга даже за относительно короткое время эксперимента...“

Дальше читать мне не захотелось, и я положил отчет на стол.

— Я тоже ничего не понял, — сказал Шмыга, поднимая отчет и открывая его на одной из закладок. — Но главная идея такая... Где тут... Вот. Добросвет пишет, он научился приводить тебя в состояние „динамического богочеловека“, хуй его знает, что это такое. Но ты с Бушем

должен говорить строго из этого состояния, причем не просто так, а голосом Левитана. И все у нас получится. Поговори минут пять, чтобы он размяк, а потом съезжай с базара. Только запомни, как грамотно съехать — мол, об остальном расскажут ангелы, и все. Запомнил?

— Запомнил, — сказал я и мрачно вздохнул.

— Боишься? — спросил Шмыга. — Не бойся, Семен. Я в тебя верю. Добросвет тоже. Он тебе капель храбрости в квасок подольет, гы-гы-гы...

Чем ближе подходил момент истины, тем безумнее и легче делалось у меня на душе. Мне снились студенческие сны — я вытаскивал билет, которого совсем не знал, и на меня доброжелательно смотрел трибунал преподавателей, но было ясно: стоит открыть рот, и это благодущие сменятся гримасами презрения. Просыпаясь, я вспоминал, что ждет впереди, и сразу ощущал тошноту, как пассажир упавшего в воздушную яму самолета.

Я, конечно, уже долго готовился к экзамену, но вот была ли моя подготовка правильной?

Еще в самом начале занятий, скорее от страха и растерянности, нежели с практической целью, я заучил наизусть тираду из „Криминального чтива“ — якобы фразу из книги Иезекиля, которую черный гангстер произносил перед тем, как нажать на курок. Там были красивые обороты, но особенно впечатлял, конечно, конец:

„And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you...“ [\[4\]](#)

Голосу Левитана здесь было где развернуться. Но потом я понял, что Буш, скорей всего, смотрел „Pulp Fiction“, и повторять ему этот пассаж — самоубийство. Зато я научился с проникновенной интонацией произносить: „For I am the Lord your God!“ [\[3\]](#)

Я провел над англоязычной Библией много времени, отыскивая схожие цитаты. Я заучивал не столько готовые куски текста, которые религиозный Буш мог помнить, сколько характерные библейские обороты на английском, всякие „valley of darkness“ и „the path of the righteous“ [\[4\]](#). Страх сделал мою память цепкой.

Но я так и не заготовил вступительной речи. Дело в том, что в депривационной камере, особенно после спецкваса, все казалось совсем иным. И у меня было достаточно опыта, чтобы понять — в решительный момент я, скорей всего, забуду все домашние заготовки.

Точной даты моего первого выхода в эфир заранее не назначали. Передать голос, который Буш услышит у себя в голове, можно было когда угодно, но вот поймать обратный сигнал, необходимый для диалога, было гораздо сложнее — здесь на успех могла повлиять даже погода.

В эти дни я узнал много нового о предыстории операции. Как объяснил Шмыга, у Буша была не пломба, а имплант, из-за чего биметаллический радиопередатчик в верхнем левом шестом (там же, где у меня) зубе американского президента оказался значительно мощнее стандартного.

Зубной врач Буша был старым советским агентом, спящим кротом глубокого внедрения, который был завербован задолго до того, как в числе его клиентов появился будущий президент США. Этой операцией Шмыга явно гордился. Биметаллический имплант в верхней челюсти Буша был одним из последних чудес отечественного ВПК, и второй такой сейчас уже вряд ли смогли бы изготовить. Но даже его мощности хватало только на несколько километров передачи.

Первоначально о Боге никто не думал — предполагалось просто подслушивать таким образом разговоры Буша. Но оказалось, что это невозможно: практически все помещения, где проводил свои совещания и встречи американский президент, были надежно защищены от любой прослушки. К тому же трудно было постоянно возить вслед за Бушем необходимый ретранслятор. И тогда полковнику Добросвету пришла в голову безумно смелая мысль о гласе Божьем.

Для разговора Буша с Богом идеально подходило семейное ранчо Бушей в Кроуфорде.

Ретрансляционная аппаратура была уже там — я даже знал, что она спрятана в разъезжающем по городку и окрестностям мебельном фургоне, возившем для конспирации и настоящую мебель. Теперь ждали, когда Буш приедет на ранчо.

Моя депривационная камера претерпела кое-какие изменения. Микрофон в нее ставить не стали — звук решено было снимать прямо с моего зуба, потому что так было меньше искажений при передаче. Зато появились два светодиода, зеленый и оранжевый, которые на несколько секунд зажигались в черноте надо мной — и гасли, чтобы не нарушать моего сосредоточения. Оранжевый означал „готовность“, зеленый означал „эфир“.

Еще добавилась кнопка экстренного отключения связи на случай приступа кашля или чего-нибудь похожего — по инструкции я должен был постоянно держать ее в руке во время эфира. Я говорю „держать в руке“, потому что это, собственно, была не кнопка в обычном смысле, а водонепроницаемый резиновый поплавок, от которого отходил провод. Чтобы отключиться, надо было просто сжать его.

Дни текли непередаваемо медленно. По утрам я перечитывал Библию, репетировал англоязычного Левитана, отрабатывая всякие архаичные „thee“ и „thou“, и томился духом. И только погружаясь в темную соленую воду, над которой теперь воистину носился Дух Божий, я испытывал радость — ибо знал, что какое-то из услышанных сегодня слов обязательно поднимет меня на недостижимую для человеков высоту.

Все случилось очень буднично, безо всякой романтики.

Меня подняли ночью. Сердце екнуло — я понял, что сейчас произойдет. Но я постарался не показать своего испуга. Возле камеры меня ждал Добросвет со своим спецквасом. Вид у него был заспанный.

— Нырять, — сказал он, когда я выпил стаканчик привычной дряни. — Буш на ранчо. Шмыга скоро подойдет. Начинаем через час. Не ввязывайся в долгий разговор, просто обозначь себя и слушай, что он скажет. Минуты через три мы тебя отключим. Первый, так сказать, блин. Ну, Перун в помощь...

Когда примерно через час загорелся оранжевый светодиод, мой омытый квасом ум был чист и пуст. Я все еще не знал, что скажу через несколько секунд. Потом зажегся зеленый.

И вдруг, без всякого усилия с моей стороны, голос Левитана произнес:

— Джорджайя! Джорджайя! Джорджайя! Сын мой, смелое сердце и чистая душа! К тебе обращаюсь Я, друг мой...

Это идиотское и совершенно неожиданное для меня самого „Джорджайя“, похожее на „Исайя“, прозвучало вполне органично — в конце концов, уместно ли Богу называть Буша Джорджем? Мои слова немного смахивали на радиообращение товарища Сталина к Гулагу по поводу немецко-фашистского кидка, но с этой речью Буш, скорей всего, знаком не был.

— Внимай мне в вере и любви, ибо я Господь твой Бог, и пришел к тебе, чтобы облегчить твою ношу...

Мне показалось, что я слышу хриплое дыхание, а потом раздался звонкий удар и лязганье зубов. И я услышал тихое:

— Oh fuck...

Потом был сдавленный стон, треск и шум. И тот же запыхавшийся голос быстро добавил:

— Forgive me father for I have sinned... [\[5\]](#)

Я не успел ничего сказать — надо мной зажглась оранжевая лампочка. Сеанс был закончен. Когда я принял душ и вышел из депривационного отсека, меня встретили Шмыга с Добросветом. Выглядели они хмуро.

— Чего так рано отключили? — спросил я.

— Нештатная реакция, — сказал Добросвет. — Но ты все нормально сделал, к тебе

претензий нет. Вечером на всякий случай посмотрим новости.

В ожидании новостей я сбрил двухнедельную щетину, постриг ногти и с небольшим интервалом съел в столовой два обеда — не столько от голода, сколько от нервов.

В девять вечера мы уже сидели у телевизора в кабинете Шмыги. Ждать пришлось всего пять минут.

— Сегодня на своем ранчо в Кроуфорде, — со сдержанной улыбкой сказала девушка-диктор, — катаясь на велосипеде, президент Буш упал и получил легкие ушибы. Бушу оказана медицинская помощь. Предполагается, что на графике работы американского президента это происшествие не скажется никак...

Шмыга посмотрел на меня, потом на Добросвета, и я увидел в его глазах огонь холодного торжества. Так, наверно, выглядели глаза звероящера, почуявшего, что добыче не уйти.

— Скажется на графике, — сказал он. — Еще как скажется. С завтрашнего дня работаем по объекту.

8

Как порядочный человек я не должен, наверное, пересказывать здесь свои разговоры с Бушем. Да и гэбэшной подписки никто не отменял. Поэтому хорошо, что рассказать мне при всем желании почти нечего, и горячим сердцам из известного ведомства не надо будет снаряжать в дорогу сотрудника со смазанной полонием циркулярной пилой.

Обычно я не готовился к беседе. Я представлял, как начать разговор, и всегда знал, как закончить — ангелами. Остальное время мое внимание и энергия расходовались на то, чтобы выдерживать величественную интонацию советского радиодиктора („говори диафрагмой“, напоминал я себе).

А все прочее... Не подумайте, что я уваливаю от ответственности, но мое сознательное участие в происходящем было весьма ограниченным.

Я, если привести сравнение, был машинистом, следившим за скоростью паровоза и его гудком. Паровоз перемещался по рельсам, тысячелетия назад проложенным в синайской пустыне тем маленьким евреем, о котором поет гениальный Леонард Коэн в песне „The Future“. А конкретные слова были чем-то вроде шпал, принимавших на себя вес паровоза и рельсов. Без шпал, понятно, не было бы никакого железнодорожного движения — но разве машинист думает, откуда они берутся и из какого дерева сделаны?

Шпалы держали вес и поступали без перебоев, ибо в то время я цепко держал Бога за мизинец своей дрожащей от страха рукой. Требуемые слова возникали в моей душе без всякого усилия, да и вообще без моего участия — иначе я провалил бы все дело. Вероятно, именно так и говорили древние пророки, земное ничтожество которых не мешало величию передаваемого через них откровения.

Когда я слушал себя в записи, я не всегда даже понимал, о чем говорю — но каждый раз дивился таинственному могуществу своей речи. Она была бессвязной и туманной, а иногда и неверной грамматически. Но это только придавало ей силы — ибо Всевышнему пристало изъясняться знаками, знаменами и смутными пророчествами. Ему идет быть загадочным, и у меня это выходило неплохо.

У наших бесед были примерные темы — вернее, не темы, а как бы смысловые центры, вокруг которых строились мои вдохновенные бормотания. Мы с Добросветом обычно находили их в американских методистских брошюрах и дайджестах американской поп-культуры, поступавших из Службы внешней разведки: „The Three Men I Admire Most“, „My Ministry of

Reconciliation“ и тому подобное [\[6\]](#).

Иногда, повинувшись внезапному импульсу я отходил от методистских лекал и начинал набрасывать что-нибудь, скажем, из Мейстера Экхарта. Экхарт и сам был большой путаник, а в моем вольном пересказе получалось и вовсе божественно. Порой я осторожно вставлял и красочную суфийскую метафору, предварительно отжав из нее все исламские референции. Но финал был всегда одинаков: „а об остальном, сын мой, тебе поведают мои ангелы — слушай их, ибо они мудры не своей мудростью, но моею...“

Сам Буш говорил мало, что очень облегчало мою миссию. На мои смутные величественные зовы он откликался молитвенными бормотаниями, всхлипами или ритуальными восклицаниями, принятыми у американских евангелистов. Иногда он плакал — особенно от исламской мистической образности. Часто он начинал петь „алилуйя“, словно бы под какой-то джаз, игравший у него в душе. Тогда у меня было время передохнуть. Бывало, он начинал славить меня со слезами в голосе, отчего мне делалось неудобно — как, наверное, было товарищу Сталину на пике культа личности.

Но в целом за годы общения у меня сложилось чувство, что Буш скорее хороший человек, чем дурной. Он никогда не просил ничего для себя лично. Завтрашние курсы валют и акций его тоже не интересовали. Кроме того, его часто мучила совесть — и это облегчало мою работу, потому что успокаивать человека всегда легче, чем отвечать на досужие вопросы.

Чаще всего я облегчал его терзания каким-нибудь „Ликуй, Джорджайя, ибо ты праведен в глазах моих“ — а потом передавал эстафету ангелам и отключался. А когда он все-таки успевал задать мне конкретный вопрос, я использовал темные цитаты из древних гадательных книг, английские переводы которых мне поставлял Добросвет. С десятков таких ответов на основе „Книги Перемен“, вряд ли известной Бушу, я помнил наизусть.

Буш никогда не бывал навязчив — как настоящий джентльмен, он умел держать дистанцию. Иногда увлекался я сам, но мои кураторы не давали мне слишком глубоко увязнуть в разговоре — после того как зеленый светодиод надо мной начинал мигать (сигнал „тикаем, пацаны“, как выражался Шмыга), я взывал к ангелам. Что говорили Бушу ангелы, я не знал и не хотел знать — мне хватало нервов на собственной вахте.

В целом, это была тяжелая работа, и очень вредная — квасок Добросвета день за днем подтачивал мое и без того хрупкое здоровье.

Расписание сеансов связи зависело от того, удалось ли разведчикам подтащить обратный ретранслятор на дальность приема. Поэтому Бог чаще всего говорил с Бушем, когда тот бывал в Кроуфорде и за границей. Но, чтобы поддерживать меня в постоянной форме, со мной регулярно проводили тренировочные сессии, как во время начальной подготовки. Я начинал понимать, как живут футболисты, которыми торгуют международные клубы. И мне порой приходило в голову, что миллион долларов за такие муки — это какое-то советское крохоборство.

Моих кураторов, однако, волновали совсем другие проблемы.

— Нельзя успокаиваться, — говорил мне Шмыга. — Ты должен постоянно повышать свою метафизическую боеготовность, Семен, потому что никто не знает, какие задачи поставит перед нами завтрашний день...

К несчастью, он оказался прав.

Проблемы начались перед самой иракской войной. Дело в том, что в это время Буш стал молиться вместе с Тони Блэром. А Блэр, в отличие от Буша, был человеком со всегда спокойной совестью. И, как у всех подобных людей, у него были самые серьезные вопросы к Господу. К счастью, он не мог задать их мне. Но он начал задавать их Бушу — после того, как тот признался в своей богоизбранности несмотря на мой строгий запрет.

Мы впервые столкнулись с таким серьезным риском. Но сворачивать операцию было нельзя

— у ангелов оставалось много работы. Я не мог просто устраниваться, поскольку без моего прикрытия дело могло встать. Поэтому на совещании у Шмыги было решено, что я на неделю покину Буша, как бы в наказание — и все это время ангелы тоже будут молчать.

Эти дни дались мне нелегко. Буш сидел в Кроуфорде, где я обычно нисходил на него после каждой молитвы. И каждый день он рыдал в моем черепе, повторяя раз за разом — „зачем ты меня оставил?“.

Порой я даже чувствовал ненависть к чекистской своре, подвергающей неплохого, в общем, человека таким изощренным мучениям. И совсем забывал, что я сам — просто служебный соловей этой своры, боец НКВД, посаженный партией на высотный аэростат, с которого он увидел так много, что вряд ли проживет теперь слишком долгую жизнь.

Когда Буш совсем отчаялся и затих, я сошел к нему в утреннем откровении, мягко укорил за непослушание и велел никогда и никому больше не говорить о моем глазе. А потом, словно в утешение, предложил ответить на любой из вопросов Блэра.

Это было с моей стороны чистой авантюрой, и надо мной несколько раз тревожно мигнул зеленый светодиод, но ставка была уже сделана.

— Тони интересовался, — слабым голосом сказал Буш, — как согласуются, и согласуются ли вообще, божественное всемогущество и божественная всеблагость.

В первый момент я даже не понял, что он имеет в виду.

— И как ты ответил ему, о Джорджайя? — спросил я.

— Я ответил... Я ответил, Господи, что из сложных словес ткнут свою сеть фарисеи, а истина Духа обитает лишь в простоте. И в таком вопросе ее нет.

— Истинно так, сын мой, — подтвердил я, чувствуя, как на моем лбу набухают огромные, как виноградины, капли пота.

— Тогда Тони подумал немного, — продолжал Буш, — и сказал, что может поставить вопрос совсем просто. Если Бог добр и всемогущ, почему в мире есть страдание и зло? Почему были Аушвиц и Гулаг? И я, Господи, не нашелся, что ответить. Не знаю я этого и сейчас...

Буш замолчал, и я понял — он ждет ответа.

В первый момент я подумал, что это провал — сказать мне было нечего. Но владевший мной дух, подобно священному гироскопу, не дал потерять ориентацию в нахлынувшей на меня тьме. Я вовремя вспомнил, что говорить должен не я, а голос Левитана. И я как бы самоустранился, перестав стоять у него на пути. А голос изрек:

— То, о чем ты спрашиваешь, Джорджайя, есть тайна, слишком тяжелая для хрупких земных плеч. Ответы даются каждому в меру его разумения. Но тебе, возлюбленный сын мой, я скажу все как есть. В духе и истине никого из вас не существует, а есмь только Я, и все это сон, который снится тем, кого на самом деле нет, ибо в каждом сущ лишь Я един. Ваши жизни подобны искрам вокруг огня, и только этот огонь реален, вечен и неизменен, а все вы — просто его отблески во мраке. Воистину, я не знаю про ваши гулаги и шмулаги, и не о всяком из ваших веков дойдет до меня весть...

— Но зачем нам такой Бог? — спросил Буш потрясенно.

— Зачем вам такой Бог? Конечно, он вам не нужен. Но другого Бога у меня для вас нет...

Надо мной одновременно замигали зеленый и оранжевый огоньки, и я понял, что самое время собраться.

— Во тьме небытия, о Джорджайя, горит огнем бесконечной любви мое сердце. И каждый волен пойти к нему, и может найти путь, ибо я забочусь о том, чтобы он всегда был виден. Но есть такие, кто не спрашивает, как им прийти к моему огню. Они спрашивают — а почему существуют тьма и холод?

— Прости меня, Господи...

— Ты спросил, и я поведаю, — неостановимо гремел я. — То, что временами тебе холодно и темно, сын мой, лишь доказывает, что тепло и огонь есть, ибо как ты узнал бы их иначе? Постигни же, о Джорджайя, великую тайну. Главное доказательство моего бытия — это зло. Ибо в мире без Бога зло было бы не злом, а корпоративным этикетом.

— Ох, — прошептал Буш. — Истинно так...

— И еще выше возьму тебя, о Джорджайя. Познай, что зло существует только для смотрящего на него человека, который сам является просто моим зрелищем, и жив лишь тем, что я смотрю на него. Участник во всем этом — я один, и если кому-то и причиняется зло, то только мне. А мне воистину ничто не может причинить зла. И почему, о Джорджайя? Потому, что никакого зла нет. Есть только страшные сны, которые искупаются пробуждением. Но эта истина превыше ваших священных книг и должна быть сохранена в тайне. Блэру не говори всего сказанного мной. Когда он подступит к тебе с этим вопрошанием снова, ответствуй так — йоу, Блэр, если в кинотеатре идет фильм ужасов, это не значит, что киномеханик попускает зло, хотя при большом философском уме можно сказать и так. Тогда он устыдится своего многоумия и отступит. Ответил ли я тебе, о Джорджайя?

— Алилуйя! Алилуйя! Алилуйя!

— Не искушай же более, о Джорджайя, Господа Бога своего.

Буш плакал, потом смеялся, потом снова плакал. А потом я переключил его на ангелов, у которых за эту неделю накопилось к нему много дел.

Когда я вылез из ванной, бледный Шмыга ждал меня прямо у душевой кабинки.

— Слушай сюда очень серьезно, Семен, — сказал он. — В этот раз пронесло. Но другого такого раза у нас быть не должно никогда. Если просрешь операцию, лично расстреляю к ебням прямо в бочке с рассолом. Понял, нет?

Сейчас уже трудно понять, как я мог прожить на этой базе шесть лет и не сойти с ума. Я даже ни разу не пытался убежать. Дело, конечно, было не в обещанном мне миллионе, потому что по московским меркам это не слишком серьезные деньги даже для лузера. Просто трансформация, поднимавшая меня ввысь, делала все остальное малоинтересным.

Я понимал теперь, почему монахи-отшельники и пещерные созерцатели проявляют так мало энтузиазма, когда им предлагают вернуться в мир. Что в нем делать? Мастурбировать на скачанный из торрента порнофильм, запрещенный в Австралии из-за маленьких молочных желез актрисы? Жевать попкорн, наблюдая за битвами сортирных гладиаторов блогосферы? Стоять в угарной пробке на ярко-красном „Порше“?

А я ведь перечисляю только то, что дается людям в качестве награды за их ежедневный унизительно-бессмысленный труд. Уже после первых опытов в депривационной камере все это стало мне неинтересно — хотя я не пытаюсь ставить себя на одну доску с настоящими святыми.

Цена, которую я платил, была высока. Мои еженедельные, а иногда и ежедневные трипы были так утомительны, что очень много времени я проводил в кровати, отсыпаясь. Химия дурно действовала на мое здоровье — у меня все быстрее выпадали волосы, и к середине второго бушевского срока я сделался так же лыс, как мой покойный папа.

Правда, меня хорошо кормили и давали много витаминов. И даже заставляли заниматься спортом — я часами играл в бадминтон с румяными лейтенантами из охраны, менявшимися раз в три месяца.

База, где я жил, состояла из двух соприкасающихся периметров, у каждого из которых была

своя проходная.

В одном размещалась техническая часть — целый лес антенн, генераторы и одинаковые военные фургончики, соединенные друг с другом черными кабелями. Там постоянно сновали офицеры с эмблемой войск связи. Рядом стояли бетонные бараки со студийными помещениями, куда свозили дикторов, работавших со мной, и ангелов тоже. Возле них я и увидел девчущку с теннисной ракеткой, о которой говорил. Но я бывал на этой территории всего несколько раз, по бытовой необходимости — например, когда у нас отключали горячую воду, а у них она была. Каждый раз мне выписывали пропуск.

На нашей половине единственным техническим помещением была контрольная комната, расположенная по соседству с депривационным блоком. Там были мониторы и наушники, чтобы можно было следить за проходящим сеансом связи. Во время важных сеансов там сидели Добросвет со Шмыгой и военный синхронист-переводчик. Одну из стен полностью закрывала стойка с черными электронными коробками — кажется, промежуточный ретранслятор. Все ключевое оборудование было продублировано, как на ракетной базе.

С другой стороны к депривационной камере примыкала фармакологическая лаборатория, которая одновременно служила кабинетом Добросвета — но он туда никого не пускал, даже Шмыгу. Про кабинет Шмыги я уже говорил.

Моя собственная комната, выходящая окнами во двор со спортплощадкой, напоминала капитанскую каюту на советском корабле. Она была большой, имела все удобства, которые были довольно неудобными, и утомляла нелепыми претензиями на роскошь — наподобие хрустальной люстры из мутноватой пластмассы. Возможно, думалось мне, я слишком долго жил на квартире покойного капитана ледокола и в результате унаследовал его карму: ежедневное погружение в соленую воду и это скорбное жильё.

Зато у нас была отличная сауна с бассейном. Еще имелась просторная комната отдыха — с бильярдом, огромной плазменной панелью на стене и уютными мягкими креслами. На полках там можно было найти книгу или компакт-диск с музыкой. Большая коллекция фильмов постоянно обновлялась. Для желающих здесь был даже бар с охлажденными напитками, но я практически никогда не пил.

Проблема с женским полом решалась, скажу по секрету, гораздо лучше, чем в моей гражданской жизни — девочек можно было выбирать по интернету. Их доставляли за казенный счет, как только возникала необходимость. Эту сторону человеческой жизни начальство, видимо, понимало и любило.

Мне возили в основном двух, блондинку и брюнетку. Им, если верить анкетам, было по двадцать два года, и за шесть лет этот параметр официально не изменился, хотя по моим ощущениям обе пересекли тридцатник где-то в середине нашего знакомства.

Я так и не выяснил их настоящих имен и знал лишь сценические псевдонимы — Снежана и Фотошоп. Снежана, как и обещало имя, была пышная пергидролевая блондинка, а Фотошопу я бы назвал космическим архетипом буфетчицы. Это не сарказм, меня всегда волновали буфетчицы, редко отвечавшие мне взаимным интересом.

Когда я спросил Фотошопу, откуда у нее это имя, она сказала, что так ее назвал один из клиентов, и слово ей очень нравится — в нем есть что-то ночное и бразильское, словно шелестит и шепчет в темной роще горячий ветер любви.

Словом, бытовых забот у меня не было. Но если в городе все же возникали дела, я с сопровождающим офицером мог выехать на свою квартиру — ее ведомство Шмыги продолжало снимать для меня за свой счет. Делал я это редко, потому что на базе мне жилось намного номенклатурнее.

Мы с Добросветом часто играли на бильярде, обсуждая детали моего очередного трипа —

так разговор выходил лучше, потому что под стук шаров мне проще было описывать свои тонкие переживания. Шмыгу они совсем не интересовали — ему был важен только конечный результат. Добросвет же вникал во все детали и, как мне казалось, относился ко мне с большим уважением из-за достигнутых мной духовных высот.

Этих двух людей я видел регулярно на протяжении многих лет. Шмыга появлялся на базе несколько раз в неделю, а с Добросветом я говорил почти каждый день. Думаю, что за это время я изучил их неплохо и могу коротко сказать про них самое важное.

Добросвет из-за своих славяно-языческих примочек сперва показался мне опасным националистом, но потом я понял, что это просто модный постмодернистский налет, а сам он человек порядочный и культурный.

Не скажу, чтобы у него не было недостатков. Он любил иногда устно пройтись по еврейской части. Он мог сказать „жидоремонт“ вместо „евроремонт“ — или, наоборот, „подъевреивать“ вместо „поджидать“. А когда я спросил его о каком-то писателе, он коротко охарактеризовал его так: „уже нежидорукоподаваемый, но еще путиноприглашаемый“.

И при всем этом он не был антисемитом. Ибо типичный антисемит — это, я вам скажу, не такой человек, который не следит за своим языком, а такой, который за ним тщательно следит. И если вы слышите от кого-нибудь заискивающую фразу — „да у меня все друзья евреи“, можете быть уверены, что в своем сердце этот фрукт глядит на вас как на тарантула или сколопендру и при случае обязательно постарается прищемить дверью — особенно если будет уверен, что прищемит окончательно.

А вот Шмыга действительно был антисемитом. Причем таким, который вдобавок еще и не следит за своим языком. Вернее, если говорить точно, он был антисемитом в том смысле, в каком им является любой мизантроп. Но если мы интересуемся исключительно тем узким вопросом, как он относился к евреям, так я честно скажу — очень очень плохо.

Он мог сказать что-то на первый взгляд невинное, а на самом деле ядовитое, с двойным дном:

— Мы понимаем, Семен, эту вечную дилемму, которая стоит перед любым культурным и образованным евреем, где бы он ни жил — в Москве или Нью-Йорке. Это двойная идентичность, когда человек даже самому себе не может однозначно ответить на вопрос, кто он в первую очередь — патриот Израиля или патриот США... Но мы, блять, постараемся поставить тебя в такие условия работы, чтобы эта проблема тебя не мучила...

И все с улыбочкой, с хохотком, как будто это такой легкий светский разговор. Еще он любил рассказать какой-нибудь гадкий еврейский анекдот — „для настроения“, как он говорил. Причем по чекистскому инстинкту старался выбирать такие моменты, когда рядом никого не было.

— Слышь, Семен... Ты, это... Знаешь, чем отличается Сохнут от Аушвица? Сохнут — это место, где богатые евреи платят за бедных. А Аушвиц — это место, где бедные евреи платят за богатых, гы-гы-гы... Ну ладно, посмеялись и хватит. Давай за работу...

Русских, впрочем, он тоже презирал. Один раз он высказался вообще очень интересно:

— Если брать в массе, русский народ сегодня полное говно и быдло. Зато русские чекисты доказали, что эволюционно они стоят даже выше евреев...

Вот такая каша была у человека в голове. И он ведь действительно в глубине души так думал. Что чекисты эволюционируют отдельно от своего народа. Ну что ж, в добрый, как говорится, путь. Дворяне тоже так думали в девятнадцатом веке. И балакали между собой по-французски, пока кухаркины дети не поставили их к стенке. А виноваты в результате оказались, как вы думаете, кто? Правильно.

В общем, заглянуть в темную душу генерала Шмыги я даже не пытался — хотя подозреваю,

что там меня встретило бы близкое жестяное дно, покрытое военным камуфляжем „под бездну“.

Зато с Добросветом можно было общаться часами. Довольно скоро он перестал изъясняться тем слащаво-неискренним языком, которым читал свою вступительную лекцию, и стал говорить то, что действительно думал, не стесняясь в выражениях.

Иные из его изречений я даже записывал.

Вот что он сказал, например, об информационном обществе — если, конечно, это было об информационном обществе:

— Монархия, Семен, оставила нам собор Василия Блаженного. А нынешний уклад оставит в лучшем случае бложок Василия Заборного. И то не факт, потому что сервер, на котором он рассупонился, могут в любой момент увезти в прокуратуру на простом мотоцикле с коляской.

А вот что — о российской филологической интеллигенции:

— Любое место, где эти говноеды проведут больше десяти минут, превращается в помойку истории. У этих властелинов слова не хватает яиц даже на то, чтобы честно описать наблюдаемую действительность, куда уж там осмыслить. Все, что они могут — это копипастить чужой протухший умяк, на который давно забили даже те французские пидара, которые когда-то его выдумали... Нет, вру. Еще они могут сосчитать, сколько раз в предложении встречается слово „который“...

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)